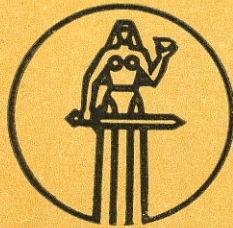


ISSN 0130-3600

საქართველოს
ლიტერატურის
ინსტიტუტი



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

9

1986

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- САНДРО ШАНШИАШВИЛИ.** Вечность и бессмертие. Стихи. Перевела Г. Павловская 3
- ФРИДОН ХАЛВАШИ.** Стихи. Перевел В. Солоухин 4
- ХУТА БЕРУЛАВА.** Мысли в пути. Перевод с грузинского 8
- ГЕОРГИИ ХОРГУАШВИЛИ.** Рассказы. Перевела Д. Владимирова 19
- ДЖАНСУГ НИКАБАДЗЕ.** Стихи. Перевел С. Алиханов 51
- УШАНГИ РИЖИНАШВИЛИ.** Из «Мартвисских рассказов» 55
- МАРИНЭ ЦОЦКОЛАУРИ.** Старый холостяк. Рассказ. Перевод с грузинского 91
- ДИЛАР ИВАРДАВА.** Стихи. Перевели Л. Фоменко и Н. Габриэлян 114
- ИОКУБАС СКЛЮТАУСКАС.** Рассказы. Перевела с литовского Н. Воробьева 118

9

1986

В 1987 году журнал «Литературная Грузия» предполагает напечатать:

Прозаические произведения Гр. АБАШИДЗЕ, Ч. АМИРЭДЖИБИ, Г. ПАНДЖИКИДЗЕ, очерки М. СТУРУА...

Стихи Ир. АБАШИДЗЕ, А. КАЛАНДАДЗЕ, Дж. ЧАРКВИАНИ, М. МАЧАВАРИАНИ, М. ПОЦХИШВИЛИ...

Неопубликованные письма Н. ТИХОНОВА, П. АНТОКОЛЬСКОГО, К. СИМОНОВА к грузинским писателям...

Читателям будут предложены материалы из литературного наследия Г. АСАТИАНИ, Ак. ВАСАДЗЕ, Н. ГУМИЛЕВА, Д. КАКАБАДЗЕ...

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ГУРАМ ГВЕРДЦТЕЛИ. Сердце, полное соли-
ца. Перевел У. Ильин 151
АННА ФАЛИЛЕЕВА. Страницы прошлого . 178

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ
ОЛЬГА ЗЕМЛЯКОВА. Письма из страны дет-
ства 185

РЕЦЕНЗИИ

ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Изучаются междуна-
циональные литературные общения 201
МИХАИЛ РАЗМАДЗЕ. Тебе, о Грузия! 205

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А. М. БАЛАНЧИВАДЗЕ

ГУЛБАТ ТОРАДЗЕ. Мэтр грузинской музыки 207
ЕЛЕНА СЕХНИАШВИЛИ. Дар творца . 215

ХРОНИКА 204, 205, 224



ВЕЧНОСТЬ И БЕССМЕРТИЕ

Вхожу весной в зеленый, влажный сад.
Здесь в бликах солнца, в их слепящем свете
На шелке трав тепло блестит роса,
И кроны лип колышет свежий ветер.

Взлетает мяч. За ним — десятки рук.
Как густ румянец щек разгоряченных!
В толпе детей — мой бойкий юный внук —
Зачинщик игр, главарь неугомонных.

И вспомнил я о юности своей.
Она промчалась вихрем благодатным.
Здоровье, удасть, бег беспечных дней —
Все отошло. Все стало невозвратным.

Жить только раз! Нести сквозь толщи лет
Свои мечты, свою любовь к Отчизне,
Изведать счастье и увидеть свет
Лишь для того, чтобы уйти из жизни?!

И вновь я оглянулся на детей.
Связь с ними — не в одном воспоминанье!
В них вечность жизни, пульс грядущих дней,
Бессмертия глубокое дыханье.

Перевела Галина ПАВЛОВСКАЯ

БАТУМСКИЙ ДОЖДЬ

Я знаю, многие батумский дождь ругают —
Купальщики, туристы... Ну и что ж,
Они ругают, но они не знают,
Что значит наш батумский бурный дождь.

А мне обидно за него до боли,
А для меня дороже звука нет,
Когда по листьям глянцевым магнолий
Он бьет, как в музыкальный инструмент.

О черепицы кровель он дробится,
То глуше, то звончее в крыши бьет.
Как омывает плечи, руки, лица.
Как в водосточных трубах он поет!

Как омывает гроздь «Изабеллы»,
На черных виноградинках блестя,
Как он из низкой тучи черно-белой
Летит ко мне, моих небес дитя.

Не только грохотать он и шептать умеет,
Ласкать умеет, гладить, целовать,
Так приласкаться, как никто не смеет,
И платья плотно к телу прижимать.

Он прям и откровенен, дождь батумский,
Уж лить, так лить, ну просто — водопад.
Хлещи, мой дождь, и ни о чем не думай —
Кто рад тебе, а кто не очень рад.

Смывай всю грязь, всю пыль, весь жалкий мусор
Ну а когда на губы попадешь,
Кто говорит, что пресен и безвкусен
Мой сладкий дождь, батумский теплый дождь?

Окно открою и в тепле постели
Все слушаю я музыку в окне.
Других не надо песен колыбельных,
Под шум дождя всех крепче спится мне.

Хлещи, мой дождь, и ни о чем не думай.
Дари, пой, прохладой награждай,
Батуми без тебя — уж не Батуми,
Батумец — не батумец без дождя.

Я знаю, многие батумский дождь ругают,
Купальщики, туристы... Ну и что ж,
Они ругают, но они не знают,
Что значит наш батумский бурный дождь.

●
Опять далекий вспоминаю бой,
Средь ночи сердце птицей встрепетается.
Проходят годы — не проходит боль.
Кто пал, тот никогда уж не вернется.


Как умирали города в огне,
Я не забыл, и не забыли люди.
Чем больше вспоминаем о войне,
Своих детей мы тем сильнее любим.

ВО МНЕ ЖИВЕТ ПОЭТ...

Во мне живет поэт, мое второе я,
Мы вместе с ним в труде, в беде, на ложе,
Намного он красивее меня,
Намного он меня, увы, моложе.

Я суетлив, а он не суетлив,
Несчастен он, где нет меня счастливей.
Он более доверчив и правдив,
Добрее он меня и справедливей.

Я раздражен, а он в меня влюблен,
Я мелочусь, а он благоговеет.
Я изменю, но не изменит он,
Я оробею, он не оробеет.



Сквозь толщу жизни и сквозь даль годов
Меня зовет настойчиво и звонко.
На жертву он, на смерть готов,
Там, где я сам готов уйти в сторону.

Он от людей не хочет ничего —
Ни помощи, ни милости, ни хлеба.
Я только обиталище его,
Земля его, его земное небо.

Я дождь его и засуха порой,
Забуду я, но он не позабудет.
Я где-нибудь, а он всегда с тобой,
Люби его, когда меня уже не будет.

ОХОТА

Как я охотился, когда я молод был!
Ружье лишь вскину — перышки кружатся.
Дроздов, скворцов я столько перебил,
Что стаями могли бы собираться.

Теперь и думать даже не хочу,
Чтобы пальнуть в летящее, в живое.
— За что же убивал я вас? — шепчу —
О чем своей я думал головою?

Они во сне летят ко мне, летят,
— За что ты убивал нас? — вопрошают.
Они понять меня не захотят,
Когда отвечу: «Сам не знаю».

Не верьте, птицы, что прошли года,
Вам говорю, седой уже мужчина,
Поверьте мне, что больше никогда
Палящего ружья на вас не вскину.

ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА МОЕГО ДОМА

Рабочие за стол сначала сели,
В тени, где лозы дикие вились,
Степенно и попили, и поели,
Потом уже за дело принялись.

Кладут фундамент. Ну, а я уж вижу
Мой дом готовым: стены, потолок,
Уж черепичную я вижу крышу,
А из трубы кудрявенький дымок.

Вставай, мой дом, и смело очертанья
Надежного жилища принимай,
Мне снись во сне во время расставаний,
Меня при возвращении встречай.

Придут друзья — располагай к веселью,
Звездой свети им, если ночь темна.
Хочу глядеть на солнце и ущелье
Из твоего открытого окна.

К домам многоэтажным не ревную,
Меня ты отпускай в далекий путь.
Я твой хозяин, но тебя прошу я
В моей судьбе хозяином ты будь.

Увидишь ты иные поколения
И прстоишь не годы, а века.
Кладут фундамент, а уж я поленья
Для твоего готовлю очага.

Перевел Владимир СОЛОУХИН





МЫСЛИ В ПУТИ

Рассказ

ЕСЛИ верить одной старинной песне, нет на свете деревни, подобной Зорети.

Раскинулась она в долине, а взбегает к самому Кавказскому хребту; когда в Зорети восходит солнце и озаряет окрестности, соседние села еще погружены в сон; бросишь пшеничное зерно через плечо — восходит оно хлебной нивой; петух закричит — полмира разбудит; из какой-нибудь девчухи только-только красавица вылупится, а из-за девяти гор и девяти морей уже на смотрины спешат; парень с кочки на кочку перепрыгнет — и сразу поползут с вершин снежные лавины и с гулом сорвутся в ущелье.

В садах Зорети спокон веку пели соловьи и звенели струны пандури, а люди ждали того дня, когда у деревни появится более рачительный хозяин, чем нынешний председатель сельсовета Афрасион Шодамондзе.

Зоретцы окончательно уверовали, что пресловутого Афрасиона так же никто не сможет сдвинуть с места, как тот огромный валун, который однажды принесла с гор разлившаяся река и который по сей день громоздится на берегу.

Смельчаки прямо с этого валуна прыгали в водоворот, но потом река изменила русло, а громадный камень остался на прежнем месте, постепенно обрастая зеленоватым мхом.

Чего только не делали зоретцы, чтобы избавиться от этого валуна! Несколько раз даже мину подкладывали, но ни взорвать, ни с места сдвинуть не смогли.

В конце концов махнули на него рукой и отступились.

Что и говорить, изворотлив был Шодамонидзе. Старался врагов себе не наживать. Да разори кто хоть всю деревню, он бы и голоса не повысил, только бы его самого не трогали, только бы его не задевали. Самыми опасными людьми он считал тех, кто отличался чрезмерным прилежанием, кто привлекал к себе внимание и невольно нарушал привычный уклад жизни.

В такие моменты председатель забывал о своей добродушной личине. На возмутителя спокойствия на-травливал он своих людей, а те безжалостно загоняли жертву.

У попавшего в опалу сразу объявлялись враги. Шодамонидзе знал его сильные и слабые стороны; если в детстве бедняге случалось разбить рогаткой стекло или разорить птичье гнездо, это немедленно выносилось на свет божий и предъявлялось ему в качестве тяжелейшего обвинения.

В один из жарких летних дней возвращался он с побережья в родной райцентр. Сидел в «Волге» стального цвета и не мог отвязаться от докучливых мыслей. Путевка у него заканчивалась послезавтра, так что же означал этот преждевременный звонок? Все ли в порядке в Зорети? Должно быть. Вряд ли за эту неделю что-то могло случиться.

Ведь семь дней назад его навестил на побережье Сардион Анишвили, секретарь сельсовета. Он сообщил, что в деревне все тихо и мирно, пожелал хорошего отдыха, говорил так ласково и проникновенно, что прямо-таки растопил сердце председателя.

Сардион пристал в одну душу — такого-то надо выдвинуть:

— В последнее время он часто выражает недовольство. Обижен на вас... И не боится никого. И на язык остер, и голова варит. Народ к нему прислушивается, захочет, полсела за ним пойдет! Нет, с таким человеком ссориться нельзя... С таким надо поступить, как с кусачей собакой: посадить на цепь! Действовать

в таких случаях надо или лаской, или угрозой, или поручить самое трудное дело. Ласке он не доверит, слишком умен и осторожен, угроз он не боится; захочешь его припугнуть, только хуже озлобишь. Значит, остается трудное дело — это лучшее лекарство для таких отчаянных и строптивых.

— А что его дружок делает? — как бы между прочим спросил Шодамонидзе.

— Знаю, знаю, кого вы имеете в виду: Арчила, заместителя директора Дома культуры. Он тоже не больно вас жалует, но что поделаешь, работник такой — не подкопаешься! Справиться и с ним непросто, но пока мы не должны его трогать. Придет время... — секретарь подмигнул так многозначительно, что Шодамонидзе испугался: похоже, он проглотит не только этих мальков, но и таких осетров, как я! Однако Сардион тотчас притворно улыбнулся, чтобы рассеять подозрения.

Эту беседу недельной давности и вспомнил теперь Шодамонидзе.

— Так значит, Афрасион Шодамонидзе, в деревне у тебя завелись недовольные? Неблагодарность — вот как это называется!

Последние слова вырвались у председателя вслух, и чтобы сгладить неловкость перед шофером, он приказал ему ехать быстрее.

— Что вы сказали, батона Афрасион, какая неблагодарность?

— Ничего, дорогой Гурам, это я так, размышлял про себя...

— Неблагодарные и впрямь найдутся. Похоже, что в нашем селе не замечают, как вы пот проливаете, как заботитесь о людях...

Гурам простодушно повторял слова, которые не раз слышал от приближенных к Афрасиону людей и которые принимал за чистую монету.

Казалось, чего стоила похвала из уст простодушного парня, но Шодамонидзе она пришлась по сердцу. Он и сам не заметил, когда начал тихонько напевать. Мчалась «Волга», беспечно напевал ее пассажир.

Внезапно им овладел неудержимый гнев, и он громко закричал:

— В конце концов, кто такой этот Сардион!

Водитель вздрогнул и остановил машину.

— Вы меня спрашиваете? — запинаясь, спросил он. Руки у него дрожали, лицо побледнело, глаза расширились от испуга. — Может, вы заболели?

— Я-то здоров, а вот Сардиону Анишвили, боюсь, не поздоровится.

— Чем он провинился перед вами?

— Обманывает он меня, фальшивый человек! Он так заискивал передо мной, что чует мое сердце недоброе.

— Не может быть!

— Откуда тебе знать, сынок, что некоторые прячут свое истинное лицо за девятью масками.

— Неужели и Анишвили такой?

— И Анишвили, и кое-кто другой. Если человек ежедневно, на работе и за столом, в поле и в лесу клянется тебе в верности, нельзя ему доверять, надо от него избавляться как можно скорее.

— Что правда, то правда, и в селе так говорят...

— Что-о?! Что говорят в селе?

— То самое, что вы сию минуту сказали.

— А кого они подразумевают, тебе известно, Гурам?

— При мне имен не называют, наверно, не доверяют, — пробормотал Гурам, включая двигатель. — Можно ехать?

— Езжай, что поделаешь, нас ждут.

Настроение у Шодамонидзе испортилось окончательно. Давешний сон так ясно всплыл в сознании, словно не сон то был, а явь.

...Он был с приятелями на охоте. В чаще леса у подножия огромного дуба они развели костер. Там же протекал холодный, как лед, ручей. Туда поставили охлаждать бутылки с вином. На ветвях дуба сидели соловьи и заливались звонкой трелью — словно в честь охотников.

— Таких соловьев, как в Зорети, нет нигде! — воскликнул Афрасион, откладывая в сторону ружье.

Анишвили указал на какую-то ветку:

— Послушайте-ка этого соловья, батона Афраси-

он, — какой у него звонкий и приятный голос. Второго такого певуна не сыщешь в лесу!

Шодамонидзе напряг слух. Отличить голос соловья, о котором говорил Анишвили, ему не удалось, он изобразил на лице одобрительную улыбку:

— Да-да, прекрасный голос!

В это время один соловей крикнул другому:

— Ты только на него погляди!

— А в чем дело? — спросил тот.

— Да он дрозда от соловья отличить не может!

Дрожащим голосом Афрасион спросил у птицы, на которую указал Сардион:

— Скажи мне, ты певчая птица или не певчая?

— Кто ж я еще, о великий охотник!

Вдруг из лесной чащи выпорхнула трясогузка и спросила у соловьев:

— Вам-то что за дело, если эти недотепы принимают за соловья безголосую пичугу?

— Наше, наше это дело.

— Отчего же огорчает вас чужая радость, ведь вы добрые и безобидные?

— А потому огорчает... потому, что...

— Ну-ну, говорите!..

— Потому, что эти безголосые бросают тень на наше доброе имя!

Трясогузка принялась увещевать соловьев:

— Ничего, ничего, успокойтесь.

— Не успокоимся! Не успокоимся!..

— Гнев вам не к лицу, добрые птахи! Вы должны петь! Петь днем и ночью, в горе и в радости: ваше пение радует и возвышает все живое.

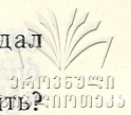
— Что ж, хорошо, мы будем петь, коли так.

И в лесу раздалось такое дивное пение, что охотники затаили дыхание.

Молчала, набрав в рот воды, и та птица, которую Сардион назвал самым лучшим певуном во всем лесу. Да и что она могла сделать, если у нее не было голоса?!

— Вот они, соловьи Зорети! — радостно воскликнула трясогузка и скрылась в лесу.

Пораженные охотники стояли у подножия огромного дуба и смотрели на Шодамонидзе. Он же застыл...



в ожидании землетрясения! А почему, собственно, ждал он землетрясения, а не чего-нибудь другого?..

Сон, конечно, всего лишь сон, но как его объяснить?

Обычно все сны у него сбывались к добру, может, и давешний не сулит ничего дурного?

«Волга», промчавшись по мосту, миновала развалины старой крепости и сбавила ход. Вдруг навстречу выскочил из-за поворота грузовик и, проносясь мимо «Волги», задел ее сбоку, порядком помяв дверцу.

Гурам остановил машину, вылез и побежал к грузовику, который тоже остановился, и из кабины его соскочил на землю бледный и растерянный водитель.

Шодамонидзе с трудом открыл дверцу и, не глянув на водителя грузовика, направился к видневшемуся неподалеку придорожному ресторану.

Нежданного гостя встретил у лестницы сам директор.

— Прошу... прошу... пока починят машину, перекусим... Вчера ваши славно покутили под этой липой, — торопливо и почтительно заговорил он.

— Кто это «наши», Валериан? И под какой липой? — насторожился Шодамонидзе.

— Сардион Анишвили дружков привел, сидели допоздна.

— Молодец Анишвили, нашел время для кутежей! Валериан взглядом указал официанту, где накрыть стол.

— Позвольте мне вас угостить. У нас есть горячее гоми и молодой сулгуни. Парочка стаканов «Оджалеси» никому не повредит. Не отказывайте мне...

Афрасион изумленно воззрился на директора. Ведь он года два назад выставил Валериана из родной деревни, где тот был директором школы.

— Не смотрите на меня так, батано Афрасион. Я благодарен вам, благодарен за то, что вы в настоящем свете показали мне людей, которых я считал своими друзьями. Я думал, они также пожертвуют собой ради меня, как я был готов на все ради них... Не очень хорошие люди вас окружают, уважаемый. Упаси меня

бог от того, чтобы на всех косо смотреть, это очень большой грех, и я не хочу брать его на душу. Конечно, я не обо всех говорю, а о некоторых...

Шодамонидзе подчинился Валериану, сел за стол.

— Я считал, что рожден педагогом... — продолжал Валериан.—И сейчас считаю, но взяли и как милостыню подкинули мне этот так называемый ресторан... Директором величают... Но оставим это. У любого дела есть своя положительная сторона. Совсем неплохо вовремя понять, кто твой друг, а кто нет. Так и со мной случилось. Не подумайте, что я на вас в обиде...

— Если дадут возможность, я сам исправлю эту ошибку! — пообещал Шодамонидзе, пожал Валериану руку и направился к машине.

Подъехав к зданию райкома, он почему-то подумал, что никакой ошибки ему уже не исправить. Внезапное волнение и гнетущее чувство неопределенности охватило этого немолодого, уверенного в себе человека.

Минут через сорок он вышел из райкома подавленный. Гурам только взглянул на него, как сразу понял: предчувствие не обмануло председателя.

Шодамонидзе шел по улице и вспоминал только что случившееся как далекую, полузабытую историю. Особенно удивляло его то, что ему поручили сельскую библиотеку.

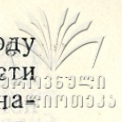
Эта пешая прогулка немного успокоила его, вернула равновесие.

Вдруг он остро пожалел самого себя, да нет, не себя, а Зорети и его жителей.

— Что теперь будет с деревней? Кто позаботится о ней? В трудную пору кто своей грудью прикроет? Кто протянет руку тем товарищам, которые так часто оступаются? Кто вразумит? Кто обласкает того же директора школы — он ведь ходит по деревне, словно петух, задрав голову. Сколько раз я говорил ему: подумай, возьми за ум, прислушайся к тому, что народ говорит. Но разве его вразумишь! Тьфу, господи, что это я все о нем! — рассердился на себя Афрасион.

Он шел по улице, которая вливалась в дорогу, ведущую в Зорети.

Палящее солнце било в глаза. Вдоль обоих тротуаров по специально прорытым канавам с веселым журчанием текла вода.



«Да будет благословен тот, кто подарил городу эту воду! Славно было бы в каждом городе провести такие канавки. И не так уж это трудно, только надо немного себя побеспокоить. Плохо, эх, жаль, поздно я об этом вспомнил, ведь мог что-то подобное оставить родной деревне на память о себе. Вот ведь простое дело, а поздно хватился!» — с горькой улыбкой подумал Шодамонидзе.

Вспомнил Сардиона Анишвили, и сердце болезненно сжалось.

«Когда я выходил из райкома, он, как незнакомому, едва кивнул головой. А какой был-забитый, когда меня из соседнего села в Зорети перевели...

Так что же все-таки с людьми делается?! И неглуп, и работать можешь, и должность получил, и влияние приобрел. Будь честен и живи по правде. Зачем прятаться за девятью масками?

Погоди, погоди... Кого ты обвиняешь, Шодамонидзе?! Разве не ты возвысил этого Сардиона?

И все же, как он со мной поздоровался, как будто я не человек, а тень, призрак... Наверное, Сардион думает, что новый председатель окажется таким же простаком, как я...»

Шодамонидзе рассмеялся и, застеснявшись своего неуместного смеха, обернулся: «Волга» послушно следовала за ним.

Он снова погрузился в невеселые мысли, забыл и о водителе, и о своей досаде...

Перед глазами стоял Георгий Барамидзе. Каким грустным он был, когда ему неожиданно предложили уйти на пенсию.

— Неужели я не гожусь для самой скромной работы, неужели так рано меня списываете? Что я такого сделал, товарищ председатель! — Он так это говорил, что сердце у Шодамонидзе сжималось от боли. Нет, не тогда, а сейчас, в эту минуту, когда он сам был так подавлен.

«Прости, Георгий! Обманули меня, накрутили, настрополили против тебя...

Так значит, другие виноваты? А ты сам где был, о чем думал, куда смотрел? Руководитель, где бы он ни

работал, должен руководствоваться не сплетнями, а голосом своего сердца и разума. Человек требует бережного, любовного обращения, особенно тот, кто привык всю жизнь доверять людям. Мыслимое ли дело — обмануть, подвести, предать своего товарища, единомышленника, соратника?! Ты же знаешь, что с того дня Георгий из дому не выходил, не может он людям в глаза смотреть. Ведь тот, кто больше всего на свете дорожит своим добрым именем, легче других гибнет, когда его честность ставится под сомнение...

Ты позвонил ему хотя бы раз? Хоть раз навестил его, чтобы его близкие, родные, соседи, друзья почувствовали твое внимание? Может, ты помог бы ему перенести тяжесть свалившейся на него беды. Теперь уже все равно — навещай, не навещай, можешь вовсе не появляться в его дворе».

Прости, Георгий! Другие, более важные дела так отвлекли меня, так закружили мне голову, что я не выкроил для тебя минуты...»

В этих размышлениях прошло много времени, впереди показалось Зорети.

Он шел, еле переставляя ноги. Проходя мимо родника, с трудом удержался, чтобы не опуститься на колени и не припасть к воде — так хотелось напиться, охладить разгоряченный лоб.

Местами взор ласкали молодые лесонасаждения, большей же частью опаленные зноем холмы и высохшие тополя взывали к Афрасиону: где же ты был? Отчего не позаботился о нас?!

Где ты был, Шодамонидзе, сколько раз проезжал мимо, ведь одного твоего слова было достаточно, чтобы голые склоны зазеленели и зацвели, подобно райским кушам! Вот об этом-то единственном слове он и забыл...

Горько сжималось сердце при мысли о том, как много осталось несделанным, неосуществленным, о том, что следовало сделать вчера и позавчера...

Поравнявшись с домом, где некогда жили Квирикашвили, Афрасион вздрогнул. Не только этот двор был безжалостно разорен, — около двадцати покинутых дворов взирали на председателя заплаканными глазами.

Куда же переселились люди? Отчего так легко

покинули родной угол? Где они теперь? Как живут? Да что он, ослеп, что ли?! Куда он смотрел? Разве этот узкий ухабистый переулочек принадлежал не его селу? Почему он ни разу сюда не завернул?

Вежливое приветствие прервало его невеселые размышления.

— Здравствуйте, батона Афрасион! Как выживаете?

— Ничего, живу друзьям на радость.

— Ага! Для меня в том и радость, чтобы мой дорогой председатель стоял крепко, как дуб, и слава Зорети облетала всю Грузию.

— А что же, сейчас эта слава не облетает всю Грузию?

— Как же нет! Конечно...

— А если это так, то не стой посреди дороги и не болтай глупости!

Эстатэ пошел, бормоча про себя:

— И кто меня просил вылезать...

Неизвестно откуда взявшийся Сардион Анишвили остановился возле родника и спросил у обескураженного Эстатэ:

— В чем дело, ты на кого дуешься?

— Кажется, я невзначай председателя обидел.

— Какого такого председателя?

— Да нашего, какого ж еще!

— Послезавтра он уже не будет председателем.

Один день как-нибудь перебьетесь — и он, и ты.

Эстатэ, пропустив мимо ушей язвительное замечание Анишвили, с искренним негодованием сказал:

— Для лицемера никакого наказания не жалко. Вот бы его в реку сбросить, где вода поглубже... да водоворот круче...

— Тебе ли об этом говорить?

— Вот именно, гражданин Анишвили, что я говорю, а лучше бы ты сам говорил.

— Опоздал, Эстатэ, дорогой! Опоздал!

— Так же, как и ты, секретарь сельсовета!

Шодамонидзе наконец сел в машину.

Из дома культуры лилась песня. Наверно, неугомон-

ный Арчил занимался с ансамблем чонгуристок. Участники ансамбля заливались, как зоретские соловьи.

На память пришел давешний сон.

Шодамонидзе зябко поежился.

«Кто же завтра придет мне на смену? Может, выберут моего заместителя? Да навряд ли. А может, Анишвили? Это невозможно, не выберут его. А разве на пост секретаря сельсовета его бы выбрали, если бы ты не настоял?»

Перед взором председателя вдруг возникло лицо молодого бригадира.

«Может, его выберут?... Почему бы и нет. Что тут невероятного? Парень, можно сказать, вырос на моих глазах. Жаль, я не сам уступил ему место; надо было мне его вовремя поддержать. Да, но ведь так обычно не делается. Да, не делается, но было бы неплохо, если бы иногда и делалось! И люди были бы довольны, и я бы по правде поступил. Он бы встряхнул бездельников и разгильдяев... Все село проголосовало бы за него...»

«Волга» медленно ползла по сельскому проселку.

Шодамонидзе думал о себе, о молодом бригадире, о бывшем учителе, угостившем его на берегу реки ароматным «Оджалеши»...

Много передумал председатель за этот длинный день!

Чувствовал, как трудно будет ему без привычного дела, как тяжело будет сознавать, что никому он не нужен, что никто не побеспокоит его просьбой, никто не придет на прием.

«А что скажут односельчане, когда увидят меня, убеленного сединами, в библиотеке? Как мне жить теперь? Какой рассвет встанет завтра над Зорети?» — спрашивал себя Шодамонидзе.

А деревья шелестели листвой, шелестели, словно хотели успокоить взволнованного, недовольного собой председателя:

— Завтра еще краше встанет рассвет над Зорети, еще краше...

Перевод с грузинского



РАССКАЗЫ

Этот странный дядя Шио

Спор

Поводом, чтоб собраться «маленькой компанией», послужила цоцхали, отливающая синевой небольшая рыбешка, которую рыбак Соло предложил инициатору этого застолья. Я говорю «поводом», ибо цель была другая... И сыр был подан, мягкий, свеженький, и нежнейшие, пахнущие весной огурчики, и налитые помидоры, и джонджоли, приправленное золотистым подсолнечным маслом и щедро посыпанное кружочками лука. И хлеб, испеченный тетушкой Пеле! Да какой хлеб — его можно было складывать, как ремень. Нашлось и отменное прозрачное «Тавквери», которое, несомненно, понравилось бы Ило Меканцишвили, уважаемому в округе человеку. Стол был накрыт под вековым орехом. Я говорю: накрыт стол, на самом же деле тарелки лежали прямо на изумрудной бархатистой траве, а пирующие сидели вокруг на соломе. Их было четверо — две женщины и двое мужчин, по всему видать, давние знакомые.

Мужчины то и дело перебрасывались шутками, женщины дружным смехом откликались на них.

Ило запел:

Любим вкусно мы поесть,
Веселиться, словно дети,

И красоток целовать,
Обо всем забыв на свете...



— Дорогой Ило, не так громко, не забывай, что мимо проходят люди, — ласково пожурила его одна из женщин, которую звали Татьяна.

И в самом деле, за оградой мелькали прохожие.
— А не выпить ли нам за красоту и радость, друзья мои, — предложил Ило. — Коротка наша жизнь, недаром говорится: «жизнь — мгновение»... Так вот, это самое мгновение человек должен прожить весело. Так да здравствует радость и долой грусть и печаль!

— Что ж, за нашу прекрасную и радостную жизнь! — патетически произнес Котико.

— Милые женщины, учтите, за красоту и радость полагается пить до дна!

— Но мы... — нерешительно начала было Татьяна.

— Ничего не хочу слышать. В таких случаях я бываю суровым, как дядя Шио, когда у него воруют яблоки.

— Неужели дядя Шио такой суровый? — удивилась Татьяна.

— О-о, и не говори! Если сорвешь одно-единственное яблочко, такого даст леща, что еле ноги унесешь! Этот неусыпный страж птице не позволит пролететь над садом!

— А вот и нет! На днях я целых три ящика вынесла, но твоего хваленого сторожа и в глаза не видела!

— Странно...

— Могу поспорить... Хотите, вынесу яблоки так, что он ничего не заметит?

— Спорим...

Татьяна смело протянула руку.

— На что?

— На что хочешь.

— Решай сам, — заупрямилась Татьяна.

— Если я проиграю, куплю что душа твоя пожелает, а если ты... — Ило грозно повел глазами, — то поцелуй за тобой.

Все засмеялись.

— Пусть будет по-твоему, — согласилась Татьяна. — Но при одном условии — в саду не должно быть собаки.

— Позовем дядю Шио и спросим, где его собака.

— Да, да, позовем его и посмеемся немного.

Послали за Шио. Через несколько минут колхозный сторож предстал перед взором пирующих.

Шио — человек известный на всю округу.

Правда, ему нет и сорока лет, но все называют его дядей Шио.

Он невысок ростом, худощав, сутуловат, глаза серые, морщинистые веки постоянно воспалены, голова зимой и летом обрита наголо, губы прикрыты рыжими, косматыми усами. Зимой он не снимает вылинявшую шинель, залатанные сапоги и потертую кожаную шапку, летом ходит в осетинской шапке, сатиновой рубаше без пуговиц и неуклюжих зеленых солдатских брюках. В теплую погоду он обычно не носит обуви и потому дубленые ступни у него черны, а пятки избородены трещинами.

Думаете, у него нет приличной одежды? Есть, конечно, но он предпочитает ходить в рвани.

Умом он не блещет. Считает, что в этом мире над ним всего два начальника: председатель колхоза и секретарь райкома. А поверхность земли топчут белые и черные люди, то есть добрые и злые.

Добрые люди сильны и всегда одолевают злых. Мысль эту внушили ему, должно быть, грузинские сказки и фильмы, читать он не большой охотник, но где услышит сдобренную крепким словом сказку, запомнит ее от корки до корки. Ему больше нравятся фильмы (разумеется, на грузинском языке), в которых показывают рукопашные бои и всегда побеждает правда. До боли в сердце любит фильм «Георгий Саакадзе», готов смотреть его днем и ночью, и каждый раз при этом испытывает несказанное, не испытанное им дотоле наслаждение. Если бы не страх перед зрителями, кричал бы на весь зал (он не забыл, как ему надавали тумачков, когда однажды, не удержавшись, огласил тишину воинственными возгласами — на экране шла битва при Ташишкар и Мартколи). А когда Георгию Саакадзе

присылают отсеченную голову сына, Шио плачет навзрыд. И не стыдится слез. Любит стихи об Арсене, с восторгом повторяет: «Божья милость с ним пребудет, коль он бедным помогает...»

Вообще-то Шио предпочитает слушать, и если его не вызвать на разговор, будет молчать. Обожает борьбу, даже если соревнуются дети. А уж если доведется ему побывать на настоящих соревнованиях, когда состязаются настоящие борцы, — так это для него подлинный праздник. К другим видам спорта равнодушен, даже к футболу! Смотрит, бывало, матч и покатывается со смеху: с ума посходили и эти футболисты, и их многочисленные болельщики. От народных песен получает истинное наслаждение, часто насвистывает понравившуюся ему мелодию, а с еще большей охотой танцует. Молодежь знает эту его слабость и подбивает на танец. И Шио танцует — порой просто так, ради удовольствия, а бывает — требует «гонорар», что выражается в основном в том, что его пропускают без билета в клуб. Зато нет ему равных в знании шуточных, сдобренных метким словом шайри. Поет он всегда с превеликой охотой.

Так вот... этот самый дядя Шио, чуть сутулясь, стоял перед нашими героями и разглядывал их из-под насупленных бровей. Наконец выдавил из себя:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, дядя Шио!

— Как поживаешь, дядя Шио?

— Садись, дядя Шио! — наперебой заговорили они.

— Что вы делаете здесь? — спросил Шио таким тоном, словно земля эта была его собственностью.

— Не видишь, едим... — смеясь сказал Ило.

— Я вижу, что кутите... Нашли время!.. Вся деревня работает, надрывается, чтоб собрать урожай, а вы тут развалились... Думаете, я не заметил, как вы сюда пробрались, но... говори, не говори, все равно что об стенку горох, вам бы только на собаках шерсть бить... Ну и что с того, что вы начальники, мне наплевать!..

Никто не обиделся на дядю Шио, наоборот, пригласили сесть, разделить трапезу.

— Нет у меня времени баклуши бить... Разве что выпью стаканчик и пойду по своим делам.



— Не лошадь ведь, чтоб пить и есть стоя!

— Не лошадь я, а собака, день и ночь вне дома торчу, ни постели нет для меня, ни тепла.

И все-таки им удалось усадить его. Ило протянул наполненный до краев стакан.

— Долгих лет вам, выпьем за честь и совесть вашу... И за меня выпьем, коли я чего-то стою! — заученно затараторил Шио, отпил, потом, вздохнув, добавил: — Да иссякнут у вас враги, как иссякнет в этом стакане вино. — Шио вылил оставшееся вино прямо под ноги тамаде и почему-то оглянулся.

— Закуси, дядя Шио!

— Бери цоцхали!

— А сыру не хочешь?

— Вот и огурчик.

— Да ну вас, что я, еды не видал? Слава богу, всего у меня вдоволь, — обиделся Шио.

— Выпей еще стаканчик.

— А это за тех, кто не косится воровским взглядом на мой сад и не топает в него не спросясь. Чтоб вор остался без крови, как этот стакан без вина. — И снова Шио оглянулся, бросил тревожный взгляд на сторожку.

— Неужто заметил что-то, дядя Шио?

— Сукиных детей на свете хоть отобавляй.

— Да у тебя там такой сторож, что никто не посмеет близко подойти, — сказала Татьяна.

— Скажешь тоже, собака привязана у самого входа в сад, а я вот от стогов отойти не могу... Собака... Некоторые люди похуже собаки... и даже волка.

И снова налили ему вина.

— Дайте хоть кусок проглотить!

Когда Шио поел, ему снова предложили выпить.

— А это за тех, кто ни делу своему не изменит, ни другу. — Он одним махом выпил до дна и перевернул пустой стакан.

— Гляди, дядя Шио. — засмеялся председатель. — Ты ведь знаешь эту девушку? — И он указал на Татьяну.

— Девушку... Да она с моей матерью одногодки, — огрызнулся Шио.

— Чтоб ты подох у своей матери, — беззлобно про-
изнесла Татьяна.

— Ты учти, она не замужем.

— Ну и что! Не мне же выдавать ее замуж! О себе подумать некогда!

— Вот и женись на ней!

— Э-е, не быть тому, чтоб ученая женщина пошла за неуча, она нос воротит от мужчин в цилиндрах и галстуках, а от меня и подавно.

— Ты не убивайся, может, я и пойду за тебя, — Татьяна метнула на Шио озорной взгляд.

— Отстань от меня!

— Дядя Шио, ты спой, а уж я позабочусь о тебе.

— Что вам спеть-то?

Председатель шепнул ему что-то на ухо.

— Неудобно, женщины тут.

— Ничего неудобного в этом нет, посмеемся и только.

— Нет-нет, думаете, раз умом я не блещу, так и совесть вконец потерял?

— Тогда спой, что хочешь.

Дядя Шио вскочил, поднял с земли палку, взял ее в левую руку, одним концом палки уперся в ногу и зацепил, подыгрывая себе на «пандури»:

Строптивы женщины у нас,
Мужей своих ни в грош не ставят,
Красят губы напоказ
Да чужих мужчин ласкают...

Развеселились пирующие.

— Спой о старой деве, дядя Шио.

Шио не заставил себя упрашивать. Взяв в руки «пандури», он спел песенку о старой деве, сетующей на свою горькую долю.

— Ну как, милая агроном, песня-то с намеком? — улыбнулся Ило.

— А вот и нет... — не обиделась Татьяна. — Во-первых, я не боюсь остаться в старых девах, во-вторых, не теряла своего возлюбленного. Вот он! — она обняла Шио. — Свет очей моих!

У Шио заблестели глаза, приятная истома разлилась на телу, но он сердито оттолкнул ее.



УДК 82(07)
ББК 84.001.001

— Отстань, женщина, не то...
— Ну что, что?.. — не унималась Татьяна.
— Отстань, говорю тебе.
— Ну, от тебя всего можно ожидать, — обиделась Татьяна и убрала руку.

— Ты бы спел песню о председателе колхоза.
Шио не заставил долго упрашивать себя.

— А о бухгалтере?

— О председателе райсовета.

Шио взглянул на тамаду.

— Давай, давай, дядя Шио, клянусь, я не оби-
жусь, наоборот, посмеюсь вместе со всеми, — с высоты
своего величия произнес Ило.

— Гм, клянется... — с сомнением пробормотал Шио.

— Да-да, клянусь честью!..

Шио долго приглядывался к Ило, потом занскива-
юще улыбнулся и, убедившись, что председатель и в
самом деле в хорошем расположении духа, запел:

Председатель наш славен тем,

Что молва идет вслед за ним:

О жене своей позабыв,

Лишь с другими он добр и мил.

Он повадился, как в курятник лис,

К вдовушке молодой одной,

И когда там застали его,

Он в окно драпанул чуть живой.

Пропев последние слова, Шио вскочил и убежал.
Ило же и в самом деле не обиделся, хохотал вместе
со всеми. Татьяна смеялась громче всех.

— Куда ты, дядя Шио!

— Давай назад!

— Да не бойся, останься с нами! — неслоь вслед
Шио. Но только отбежав на большое расстояние, Шио
остановился, повернулся и, оскалив зубы, захохотал.

— Иди к нам, ничего тебе не будет! — кричал
председатель.

— Так я вам и поверил! Кому нужны правдолюб-
цы! — сквозь смех пробурчал Шио, махнул рукой, по-
вернулся и побрел к своей сторожке.

С чувством одному ему понятной радости и гордости оглядел он горы ящичков с ароматными яблоками, потом пошел в конец сада, где была привязана его Бобра, бросил ей сначала кусок хлеба, потом припрятанную куриную ножку. «Ешь, моя Бобра, ешь на здоровье», — шептал он. Собака смотрела на него добрыми, полными благодарности глазами. Приласкав Бобру и убедившись, что она сыта, он вновь пошел к сторожке. И вдруг замер, услышав подозрительный шорох, потом прибавил шагу, вышел за ограду, пригнувшись побежал вдоль нее и когда приблизился к ящикам... увидел Татьяну, которая с трудом волокла ящик.

— Это еще кто! — крикнул он в сердцах.

Татьяна обернулась.

— Ой, чтоб ты провалился!

Шио подошел ближе, сутулясь сильнее обычного, так что голова его утонула в плечах. Вытаращив от возмущения глаза, мрачный как туча, гаркнул:

— И тебе не совестно! Совсем обнаглела! У кого воруюешь! Намедни унесла целую сумку, я промолчал, подумал, женщина, не буду конфузить, а теперь ты за целый ящик взялась!

— Да не ори ты, оглашенный, я ведь к тебе пришла, думаю, может, снизойдешь, поцелуешь разок...

— Ты этими баснями цыпят своих корми, думаешь, совсем глупый я...

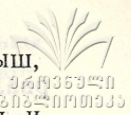
— Ну хорошо, скажу... Это председатель просил меня!

— Да плевал я на твоего председателя!.. Потом будут на всю округу славить: вот до чего докатился Шио, у него уже и женщины из-под носа уносят яблоки. Сказала бы по-доброму, я, может, и больше бы дал... Все только и норовят отхватить себе кусок пожирнее... Не будь ты женщина, хватил бы я тебя палкой...

— Да перестань, дядя Шио, яблоки-то не твои собственные, — пыталась оправдаться Татьяна.

— Вот пойду в райком и расскажу все! — не унимался Шио.

Татьяна отнесла ящик на место и молча, несолоно хлебавши, пошла к друзьям, которые, наблюдая за всем этим, покатывались со смеху.



— Ну что, попалась? — намекая на проигрыш, спросил Ило.

— Попалась, — улыбнулась Татьяна. — А он и в самом деле всевидящий, откуда только взялся?

— Выходит, проиграла, — широко улыбнулся Ило, обнажив золотой зуб и окидывая Татьяну жадным взором.

— Проиграла, — без тени смущения подтвердила Татьяна и не отвела глаза.

— А как насчет условия? — обрадовался Ило.

— Отстань, ради бога, у меня такое настроение, что, боюсь, вместо поцелуя заработаешь пощечину.

— Э-е, нет, так мы не играем... — Ило протянул ей полный стакан.

Веселье продолжалось.

А Шио сидел возле ящиков с яблоками, поглядывал на пирующих и бурчал:

— Не будь я Шио, если...

Выскачка

Войдя к председателю, бригадир пропустил вперед старого Митру и, уверенный, что сейчас председатель «пропесочит» старика, сердито выпалил:

— Вот, Антон, больше месяца хваленный тобою Митра не выходит на работу... Никала слег в постель, у Иосифа жена болеет, Исаак строится, Шакро с тех пор, как у него погиб сын, не показывается... Никого не осталось в бригаде, одни женщины... Да и они надрываются только на своих участках, а бригада разваливается, дорогой мой Антон... Слава богу, достаточно тракторов и машин, а то вообще бы пропали. Вот привел Митру, поговори с ним, мои слова он ни в грош не ставит.

Антон, задумавшись, посмотрел на старика, собрался что-то сказать, но тут в кабинет, хлопнув дверью, ворвался Шио и, не обращая ни на кого внимания, крикнул:

— Предупреждаю, убью я этого иорамовского сына.

— Погоди, Шио, видишь — люди у меня, — прервал его председатель.

— У меня дело поважнее.

— Без дела сюда не ходят...

— Так вот, пока не поздно, поговорите с ним, убью мерзавца!

— Погоди, говорят тебе!

Шио, недовольно ворча, опустил на стул.

— Что с тобой, дядя Митра, ты чего отвернулся от нас? — спросил Антон.

Старый Митра пригладил рукой всклокоченную бороду, поднял на председателя грустные глаза, вздохнул.

— Это жизнь от меня отвернулась, вот я и выхожу виноватым перед вами...

— Ну, Митра, я что-то не помню, чтоб прежде ты роптал на свою судьбу.

— Курица выпьет водицы да на бога взглянет... Не могу, сынок, в ногах крепости нет... Ну что, неужто, пока не свалюсь вконец, вы не поверите... Одной ногой в могиле стою... Кости ломит, в коленях силы нет... Сяду, так встать немоготу... Все напасти на меня...

— Дядя Митра не врет. Сосед он мне, знаю его как свои пять пальцев, — вставил Шио.

— План-то нам дали с учетом всех работающих... У тебя есть справка от врача, что ты в самом деле болен?

— Когда старость скрутит, тебе уже никакой врач не нужен... Семьдесят мне будет на рождество христово... Ты ведь знаешь, сынок, я никогда себя не жалел, сорок лет работаю в колхозе... Сам передал артели вот этими руками вынчанную землю под пшеницу, две пары быков, шестьдесят пудов отборного хлеба не пожалел, арбу с дубовыми оглоблями, плуг с таким лемехом, что век не сотрется, не жалел своего добра, как другие, и не корил никого, а теперь вот негодный стал, что поделаешь...

— А что делать, дядя Митра... Дети твои живут в Тбилиси, разве что на лето приезжают отдохнуть, жена у тебя постарела, ты стар, кому же работать в вашей семье?

— Вот и у меня сердце болит, что дети от деревни отвернулись и повидать нас толком не приедут. Что де-

дать? Хоть руки на себя накладывай, да ведь столько лет ходил по земле с добрым именем, неужто под конец жизни срамиться? — вздохнул Митра.

— Вот все вы так... Да, жалею я вас, но мне-то от этого не легче... Не хочешь работать в колхозе, так и с нас не требуй ничего. Знай, лишу тебя зедазварского виноградника! — старался казаться суровым председателем.

— Воля ваша. Известное дело, чужая беда не болит... А вообще... чего тебе надобно-то... Этот виноградник — и пенсия моя и зарплата.

— И отлично, коль так любишь свою землю, выходи и работай, а то поднимать руку на собрании всемогут.

— Я свое отработал, сейчас ваш черед, с себя спрашивайте... — пробурчал старик и вышел, еще больше согнувшись.

В кабинете на миг воцарилась тишина.

— А он прав... — неожиданно нарушил тишину Шио. — Чего ты к нему пристал, не видишь — хворает человек, сколько ему жить-то осталось, с две пятницы, не боле! Ты молодых гони на работу, тех, что спины обтирают о стены махариановского дома...

— Тебя только не хватало... Мы тут не знаем, как выкрутиться... — проговорил в сердцах Антон.

— Ты вот, Антон, человек ученый, ума у тебя больше, чем у меня, но не обижайся... Человек должен правду говорить. Ты сначала свою жену выведи, что в тени блаженствует, пусть попотеет, верни из города своего брата, что в месяц двести рублей просеивает, и сыночка старшего поставь вослед, он-то у тебя и не учится, и не работает, и племянников своих, и сыночков твоих друзей, а потом уж о других толкуй. Будешь самчист, так за тобой пойдут, а иначе...

Председатель не обиделся, хотя и попытался оправдаться:

— Слышал небось пословицу: в чужом глазу соринку увидит, а в своем и пенька не видит, ты бы, дядя Шио, о своих делах позаботился...

— А я о чем твержу. Вы же мне рот мячом затыкаете... Говорю вам, убью я иорамовского сына... Сладу с ним нет, что ни день — крадет яблоки, ранее за пазухой прятал фрукту, ныне ящиками тащит.

— Поймал ведь.

— Поймал, да он лыбится, говорит: ты бы ловил тех, что машинами яблоки вывозят, я, мол, самую малость краду. Вот до сих пор дошло! — провел Шио указательным пальцем по кадыку. — Так отдубасил, наизнанку вывернул... Потом раздел и отпустил на все четыре стороны.

— Одежду куда подевал?

Шио вышел, принес в кабинет перетянутую ремнем одежду, бросил ее перед столом:

— Вот...

— Хорошо, Шио, ты иди, а с иорамовским сыночком я сам поговорю. Молодец, дядя Шио, молодец. Было бы больше таких преданных делу людей, как ты... — похвалил его Антон.

— Я-то свое дело знаю... Но... почему, почему воруяют... Одни трудятся, а другим все даром хочется... Будь я богом, всех воров погнал бы в ад... Попадись мне еще кто-нибудь...

— Ты уже отделал одного.

— Да еще как... Аж искры из глаз посыпались... В рев ударился паршивец, пожалел я его... Ну, пошел я... — Шио вышел и закрыл за собой дверь.

Судьба или чудо?

Дядя Шио долго вел вольготную, холостяцкую жизнь. Больше половины жизненного пути пройдено, а он так и не привел в дом хозяйку. Стоило кому-нибудь из родственников обмолвиться о женитьбе, как он поднимал его на смех, а если надоедали, разозлившись, клял всех на свете и кричал: «Сами женитесь, если это такое хорошее дело!». Стоило деревенским лоботрясам заполучить Шио, они обступали его — и сыпались вопросы:

— Что думаешь, дядя Шио, не пора тебе жениться?

— Еще чего! Чтоб она трепала мне душу?

— Поцелует, обласкает...

— Мне ничьи поцелуи не нужны!



— Приоденет тебя...
— Сам как-нибудь справлюсь!
— Погуляете вместе, порезвитесь.
— Мне не до гуляний!..
— Не надоело тебе бобылем ходить?
— А что, не съедят же меня волки, раз я один..
— И Зина тебе не нравится? — не унимались бездельники.

— Это еще кто?
— Падчерица хромого Кола...
Зине было лет двадцать пять. Высокая, грудастая, блондинка — она и в самом деле была хороша собой. Ей было четыре года, когда мать, овдовев, вышла в 1943 году за Кола Михапашвили; он тогда лечился в астраханском госпитале.

— Ну, что скажешь, Шио?
— Будь она лакомым кусочком, сами бы давно на ней женились, — хихикал Шио.
— Щечки, что яблоки налитые! — не унимались парни. — Женись, брат, не пожалеешь... К тому же, какая она хозяйка!

Вся деревня потешалась подобными разговорами, но ни отчим, ни мать, ни сама Зина не обижались. Ну как не смеяться над таким чудаком! «Вот это жених по мне! — покатывалась со смеху Зина. — Красавец мой желтозубый!... Если не посватается, сама пойду к нему!».

Стоило встретиться им, как Зина приставала к Шио:

— Ну чем я не хороша для тебя? — и хохотала.
— Не шути так, Зина! Вот попадешься мне где-нибудь, будет не до смеха! — грозился Шио.
— А я не из пугливых... — не сдавалась Зина.
— Не играй с огнем, — качал головой Шио.
— Не отстану от тебя, ну хоть умри! — не унималась Зина.

Как хотите назовите это, то ли судьбой, то ли чудом, но... Зина вышла замуж за Шио.

Все село переполошилось. Женщины нашли пищу для пересудов:

«Смотри-ка, какая девка досталась этому оболтусу!».

«Жаль бедняжку, он ведь смурной».

«Кто знает, можег, будет таким мужем, что она день и ночь будет целовать его золотушные глаза».

«Вот вы потешаетесь, а ведь второго такого семьянина на всю деревню не отыщешь».

«Работы не чурается».

«Во всем порядок любит, чужого не возьмет, да и своего не уступит, будь ты ему хоть брат родной».

«Да и правдолюбец к тому же».

«Сколько ни хвали, а он с приветом».

«А кому от этого худо?»

«Нет, трудно представить себе: Зина и Шио... Смехота...»

«И в самом деле, не родись красивым, а родись счастливым... Повезло Шио».

«Тут девке домашние замутили голову, иначе она бы и на пушечный выстрел не подпустила бы к себе этого тронутого».

«У нее такие невестки, они кого угодно доведут».

Вот какие разговоры велись о молодоженах.

А у них был медовый месяц.

Нахлынуло, завертело Шио неизведанное им дотеле головокружительное счастье. Он забыл обо всем на свете, даже о своей работе.

— Шио, а как твои сады? — вспоминала вдруг Зина.

— Да ну их!.. Ничего мне не мило на свете, кроме тебя.

— Что люди-то скажут?

— Пусть говорят что хотят, мне сам председатель разрешил не работать...

Да, все на свете позабыл Шио, кроме своей молодой жены, глядел на нее денно и ночью — и нарадоваться не мог.

Зина хлопотала по дому, а Шио ходил за ней по пятам, исполнял любую ее прихоть, выполнял любую работу — лишь бы быть рядом, лишь бы Зина была довольна. А Зина в самом деле была счастлива, глядя, как светится лицо Шио. И никому не позволяла насмеяться над ним, говорить о нем пренебрежительно. Изменился Шио, приделся, хотя в новом для себя об-

личье испытывал муки ада — непривычны были и накрахмаленные чистые сорочки, и модные туфли, в которых каждый шаг давался ему с превеликим трудом... Но стоило ему взглянуть на Зину, как он забывал обо всех своих «бедах».

Вот и сейчас сидит он на мягком диване и с улыбкой наблюдает за женой, которая крохотным пинцетом выщипывает брови.

— Ты чего, Шио? — глядя на него в зеркало, спрашивает Зина.

— Больно хороша ты... Надо же, такое счастье мне выпало...

Зина довольно улыбается и берется за помаду.

Взгляд Шио застывает.

— А почему ты красишь губы?

— Чтоб нравиться тебе.

— Ты мне и так нравишься, а вот... — он запнулся.

— Что «вот», говори, Шио.

— Кто красит губы и пудрится, тот... — ему трудно подобрать слова. Зина приходит ему на помощь:

— Легкого поведения, да?

— Ты не обижайся, медовая моя, так люди поговаривают.

— А ты что в этом смыслишь, дорогой мой, ты ведь из деревни даже носа не высывывал...

Шио виновато опускает голову.

— Пусть земля разверзнется да поглотит меня, если я когда-нибудь изменю тебе, — успокаивает его Зина.

— Сладкая моя! — шепчет счастливый Шио.

— Что, мой сахарный?

— Мы ведь одни?

— Ну и что же? — улыбается Зина.

— И дверь заперта, верно?

— И что же, что же? — вновь улыбается Зина.

— А вот садись рядышком, скажу. Хи-хи-хи... — смеется Шио, а у самого сердце готово выпрыгнуть из груди.

— Ну, конечно, сяду... — она садится рядом и широко улыбается.

Шию дрожит, пламя охватывает его лицо. Он пылко обнимает жену.

— Осторожнее, сумасшедший, так и задохнуться недолго, — с трудом переводит дыхание Зина.

— И в самом деле ты медовая! — самозабвенно шепчет Шию.

— Ну разве так целуют?

— А как же? — настораживается Шию.

— А вот так... — Зина нежно прикладывает мягкими и теплыми губами к его бритой щеке. Это прикосновение жены доставляет Шию неизмеримое блаженство.

Шию не скрывал своего счастья.

Односельчане, зная его непосредственность, приставали к нему с расспросами.

— Очень любишь свою жену?

— Больше самого себя.

— А что тебе нравится в ней?

— Все... Все, что видят глаза мои и способен произвести язык мой.

— И все-таки?

— Это уж мне знать...

— И мы хотим знать, что тут такого?..

— А вы больше своими женами интересуйтесь.

— Ну как, Шию, сладко целоваться?

— Ох-хо-хо... Губки у нее что землянички...

— А телом... телом какова?

— Телом... — И тут он начинает сердиться: — Да ну вас всех, стыда у вас нет...

— Ты, наверное, чувствуешь себя как в раю.

Шию самодовольно улыбается.

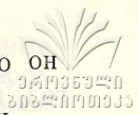
— Слушай, дядя Шию, ты не больно уж распространяйся о своей жене, услышит — попадет тебе.

Шию и сам понимает, что разоткровенничался, и замолкает.

Остыл постепенно пыл любви, и вспомнил Шию, что у него есть работа.

— Жить-то надо... — словно оправдывался он.

И потекли ночи, когда он вынужден был оставлять любимую жену дома и коротать долгие часы в одиночестве, но мысленно он не покидал ее ни на минуту. Сидел, бывало, он в сторожке, она — с ним рядом, обходил сады — она неотступно следовала за ним.



И не было ничего удивительного в том, что он исполнял любую прихоть жены.

— В магазине получили французские туфельки, — вкрадчивым голосом шептала Зина. — Такие, что глаз не оторвешь.

— Так что же?

— Купить?

— А как же!.. Сколько они стоят?

— Тридцать восемь рублей, да столько же надо переплатить.

— Пусть стоят в десять раз дороже! — расходился Шио и давал ей деньги.

— Ну как, хороши? — улыбалась Зина, примеряя обнову.

— Ох-хо-хо...

Зина целует его в небритую щеку. Но, как известно, бабьи прихоти не перечтешь... Все лучшее из-под прилавка магазина постепенно перекочевало в гардероб Зины, а ей все мало.

— Ты знаешь новость? — сказала она как-то мужу. — Я отложила для себя шубу.

— Так в чем дело, купи ее.

— А почему не спросишь, сколько она стоит?

— Сколько?

— Тысяча пятьсот.

— Ты что, смеешься, ведь на такие деньги можно дом построить!

— Ты бы видел, какая шуба... И потом, чем твоя жена хуже других? Неужто я не достойна красивой шубки?

Шио в замешательстве. Он не привык отказывать жене, но где взять такие большие деньги? Правда, есть кое-какие сбережения, с гулькин нос. И тут Зина приходит ему на помощь.

— Продадим корову, а, дорогой?

— Я готов душу продать, лишь бы доставить тебе радость.

И принарядилась Зина в шубу. Были проданы и корова, и бычок, но Шио не сожалел об этом. Жили они душа в душу, не могли нарадоваться друг на друга.

Одно печалило Шио: прошел месяц, другой, минул год, второй пошел, а Зина все не обещает ему наследника. Но Шио не теряет надежды.

Покойник

Большой зеленый двор, бывший свидетелем многих радостных событий и пиршеств, сегодня в трауре. Вся деревня пришла почтить память умершего. Почтальон, как взмыленная лошадь, носился от почты к дому, доставляя многочисленные телеграммы. Шли и шли люди, чтоб выразить соболезнование, шли старые, пожилые, молодые, знакомые и незнакомые. Венков и цветов было такое множество, что их уже некуда было ставить.

В дубовом гробу лежал покойник. Неожиданная болезнь очень быстро скосила его. Черные густые волосы, гладкий лоб, не ведающий жизненных горестей, свидетельствовали о том, что он ушел из этого прекрасного и грешного мира, не печалась ни о ком и ни о чем. Глаза слегка приоткрыты, как и в жизни, когда он, прищурившись, разглядывал своего собеседника, упругие щеки, к которым не раз прикасались трепещущие губы женщины, слегка пожелтели, едва заметная бороздка под ровной линией ухоженных усов придавала лицу такое выражение, точно он посмеивается над людьми, оплакивающими его; большие сильные руки, которые он не раз раскрывал в танце «Картули», теперь покорно лежали, скрещенные на груди.

Оплакивали его старая мать, осунувшаяся от горя жена, замужние сестры, тетки. Распустив волосы, царапая лицо, с громкими рыданиями бросались они на гроб, словно соревнуясь, кто краше и цветистее оплачет дорогого им человека.

Поодаль стояли родственники, соседи, вторя плакальщицам глухими рыданиями.

К гробу один за другим подходили соболезнующие, пожимали руки родным.

Но вот среди тех, кто пришел отдать последний долг первому на селе человеку, появился Шио.

На нем была черная, выпростанная из ремня рубашка, брючины заправлены в высокие носки, а широкие поля зеленой шапки, какую обычно носят крестьяне,

неуклюже свисали на лицо. Обут он был в грязные туфли без шнурков, из намеренно вырезанных дырок торчали мизинцы. Озираясь по сторонам, он пробрался сквозь толпу, подошел к гробу, снял шапку, провел рукой по встрепанным волосам и неожиданно громко, точно пришел на свадьбу, произнес:

— Здравствуйте!

Люди не удивились — от Шио всего можно было ожидать. Кое-кто украдкой улыбнулся. Родные запричитали. Шио поочередно пожал им руки, обошел гроб, но не вышел из комнаты, а прислонился к стене и стал слушать причитания матери:

— Это что за страшная беда свалилась на нас, люди-и-и! — била она себя по голове. — Нет в живых нашей надежды и опоры, нашего дорогого Ило! Ты, сынок, должен был закрыть мне глаза, а вот я оплакиваю тебя!.. Если суждено было тебе так рано уйти из этой жизни, уж лучше бы ты убил меня, похоронил, чтоб не видеть мне твои навеки закрытые очи... К чему нам этот дворец, если люди пришли сюда для того, чтоб поднять твой гроб, а на «Волге» твоей с венками проедут по селу другие... Кто войдет теперь в этот дом, кто принесет в него радость!.. Люди-и-и, убейте меня, я не хочу жить, если не будет ходить по этой земле мой сын!.. Кто проклял меня, люди, кто?!

У жены не было сил причитать громко, распустив волосы, в кровь исцарапав лицо, она хриплым голосом шептала:

— Ты почему изменил мне, бессовестный, почему?.. Любую твою измену я перенесла бы, только не эту... Помнишь, как ты смеялся, когда я болела, говорил — уж если умираешь, то умри вовремя... А теперь вот... Как же мне жить без тебя, как растить детей... Ты теперь нужен им больше, а ты покинул нас... Встань, умоляю тебя! Пусть все будет по-прежнему, пусть опять вокруг тебя крутятся другие женщины, пусть я снова буду коротать бессонные ночи, ожидая тебя, гони меня прочь из дома, я все приму, все... Только не оставляй детей сиротами, умоляю тебя, встань!..

Вслед за ней причитали сестры, многочисленные тетки, стоял вселенский плач.

Вдруг все замолкли, словно в один и тот же миг задумались над непреложностью смерти. Стоящий у стены Шио еще больше съежился, долгим взглядом уставился на покойника, с сожалением покачал головой — и в воцарившейся тишине прозвучал его голос:

— Эх ты, несчастный. И тебя смерть не пожалела, и за тобой явился Микэл-Габриэл¹... Да, ты был видным мужчиной, но смерть знала, кого забирать!

Вновь заголосили женщины, но все же кое-кто не смог скрыть улыбки, а стоящие на балконе люди зашумелись.

— Убирайся отсюда! — прошипел кто-то.

— Выведите его... — слышался чей-то слабый голос.

Шио не тронулся с места.

— Шио, не стой здесь, уходи! — шепнул ему один из ретивых соблезнующих.

— Почему это я должен уходить? — громко спросил Шио.

— Выходи, во дворе ждут тебя... — стали упрашивать его.

— Никто меня не ждет, сегодня сам председатель освободил меня! — заупрямился Шио.

— Слушай, стыдно ведь... — шептали ему.

— А мне нечего стыдиться, я стою себе и никому не мешаю.

Тогда кто-то догадался позвать самого председателя, и только тот смог вывести Шио из комнаты.

— Ты, видать, вконец рехнулся, что ты там молол, и не стыдно тебе?

— А разве говорить правду стыдно? Стыдно было делать то, что он делал. Не будь он таким потаскуном, моя любимая жена и сегодня была бы со мною, но... Эх, да что говорить... Моя Зина... — и Шио, не стесняясь, зарыдал.

— Как бы там ни было, о покойнике плохо не говорят, с него хватит и того, что он будет гнить в могиле.

— Да ну его могилу...

¹ Ангел смерти.

— Возьми себя в руки, Шио, боюсь, как бы тебе не досталось...

— Плевал я на всех...

Тем временем настал час и двинулась процессия к кладбищу. Вслед за гробом шли люди, пришедшие отдать последний долг первому в деревне человеку — некогда могущественному и всесильному Ило Меканцишвили.

Убирайся!

Приятная осенняя истома царила в воздухе. Ночь была безлунная, но высоко-высоко в небе мерцали звезды, а в деревне мигали лампочки на столбах. Шио, с трудом оторвавшись от любимой жены, спешил на работу. Он шел по проулку, а тень Зины неотступно следовала за ним, он мысленно продолжал говорить ей самые нежные слова. И вдруг остановился, стал шарить в карманах, потом вывернул их и, не найдя того, что искал, в сердцах хлопнул себя по лбу. «Тьфу! Надо же было забыть папиросы дома!». Он стоял посреди проулка, раздумывая, возвращаться или нет.

— Нет, не высижу всю ночь, если не будет курева, — пробормотал он, повернул обратно и поплелся домой.

В доме было темно. «Как же скоро она уснула», — подумал Шио, осторожно открыл дверь, на цыпочках прошел в комнату, боясь нарушить сон любимой жены, зажег свет и... остолбенел, как громом сраженный. В глазах у него потемнело, колени подкосились, разум помутился, он не мог понять, явь это или сон, — рядом с его женой лежал мужчина.

Любовники, застигнутые врасплох, растерялись, правда, мужчина успел натянуть на голову одеяло, но густые волосы выдавали его. Нет, он не сгорел со стыда, не дрожал от страха, он думал всего лишь о том, как бы поскорее избавиться от «этой маленькой неприятности». Зина села в кровати, обнаженной рукой поправила встрепанные волосы и засыпала мужа вопросами:

— Что случилось, дорогой... Ты почему вернулся?.. Забыл что-нибудь, дорогой?..

Шио, не проронив ни слова, повернулся и вышел на балкон, где у него лежал топор.

Едва Шио вышел, гость вскочил, спешно влез в брюки и выпрыгнул в окно. Залаяли собаки, но вскоре замолкли.

Шио, не найдя топор (накануне Зина, оказываясь, одолжила его соседу), схватил кочергу и ворвался в дом. Зина встретила его одетая. Она сидела на стуле бледная, боясь поднять глаза.

— Куда он делся, сукино отродье! — выпучил Шио кровавые глаза.

— Кто?.. Ты о ком, Шио? — недоуменно пожала плечами Зина, — клянусь, здесь никого не было.

— Куда ты его подевала! — Шио забегал по комнате, бросился к гардеробу, заглянул под кровать, ворвался в другую комнату, но гостя и след простыл.

— Куда подевался этот паскуда! — орал Шио.

— Здесь никого не было, Шио, — вновь пожала плечами Зина и в недоумении скривила губы. Она старалась казаться спокойной, хотя сердце у нее готово было выпрыгнуть из груди. «С него станется, он на все способен, и задушить может, и зарезать... Но ведь он любит меня... Может, и простит, ведь все время твердит, что я для него дороже всего на свете... Нет, убьет... А может, простит...»

— Не обманешь ты меня клятвами, чертовка... Это чье?! — он поднял с пола кольцо. — Ну, что теперь скажешь, потаскушка!..


Зина не нашлась что ответить и зарыдала.

— Тьфу! — сплюнул Шио. — Председатель райсовета, почтенный человек!.. Почему только небеса не разверзнутся, глядя на такие дела... Но во всем ты виновата, сука... — он замахнулся кочергой.

Зина кинулась к нему, схватила за руку, потом, опустившись на колени, обхватила его ноги и взмолилась:

— Прости меня, дорогой, прости на этот раз, не виновата я, он сам ворвался, пьяный был, а я... я... — и она зарыдала.

Шио вдруг обмяк, чувство жалости на какой-то



миг затушило в нем гнев, и он в бессилии опустил руки. Где-то глубоко-глубоко затаившаяся жалость набрала силы, окрепла, всплыла и огнем охватила все его тело. Она захватила его, приручила... Он забыл обо всем и ласковой, всепрощающей рукой провел по растрепанным волосам жены. «Не стыдно тебе?.. Ради тебя, ради нашей семьи я в любую погоду, в дождь и холод работаю, ни постели не знаю, ни сна, а ты... Какой-то проходимец...» И вновь в нем заклокотала кровь, вновь хлынула на него злость, и волна ненависти и гнева подавила чувство жалости и любви, разум помутился, и он оттолкнул в гневě жену:

— Зря приbedняешься. Как бродячая собака не перестанет шататься по дворам, так и ты не избавишься от греха своего. Коли женщина ступила на этот путь, сам бог не заставит ее свернуть! Убирайся отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели! — и хватил кочергой жену по ее белому телу. Зина с криком выскочила на балкон.

Сбежались соседи. Поняв, в чем дело, во избежание беды спрятали Зину и стали успокаивать Шио.

— Ну ничего, Шио, что было — то было...

— Как это ничего?! — взревел он.

— Зина не виновата...

— Так вы виноваты, что ли?..

— Он ворвался к ней...

— А почему он к вам не ворвался?

— Ну теперь... Кому кто нравится...

— Я день и ночь ради нее мучаюсь, света божьего не вижу, только ею и дышу... Она же... Ишь что задумала... Нет, убью я ее, паскуду, убью!.. — сквозь рыдания твердил Шио.

Соседи искренне сочувствовали ему.

— Где она, я должен убить ее! — не унимался Шио.

Но Зина была в надежном укрытии.

С той ночи Шио своей жены не видел. А вскоре Зина и вовсе покинула деревню, в город подалась. Устроилась на работу в ресторан.



Как сон, схлынули два года, проведенные с женой. Изменился Шио, замкнулся. Опротивел ему собственный дом, дни и ночи коротал он на работе. Людей сторонился и только с Боброй чувствовал себя спокойно и часами беседовал с ней, как с самым близким другом. И собака отвечала ему лаской и преданностью. А ночами, бывало, когда он лежал в стылой своей постели, являлось ему видение: Зина садилась рядышком, он ласкал ее, и она доверчиво опускалась ему на руку, заглядывала в глаза. И тогда не было на свете человека счастливее Шио. Он чувствовал тепло ее губ, тонул в блаженном забытии. Но вдруг настороженно прислушивался к тишине и в ярости скрежетал зубами.

Могила Ило Меканцишвили была, пожалуй, самой богатой на кладбище. На черной мраморной стеле был высечен портрет усопшего, под ним даты рождения и смерти, а еще ниже стихи, сочиненные местным стихотворцем:

Я чашу радости испил,
Судьба лишь счастье мне сулила,
Но смерти острая коса
Меня безжалостно скосила.

Вдоль огромной мраморной глыбы в мраморных кувшинах стояли живые цветы. Высокая ограда надежно охраняла могилу, рассчитанную на то, что в скором будущем с сыном навечно поселится старуха-мать, а мужа не оставит в одиночестве жена. Каждый год в день поминовения усопших родные спешили на могилу, и каждый раз оттуда доносились душераздирающие вопли — когда бы они ни пришли, на могиле валялись дохлые лягушки.

Все считали, что это дело рук Шио, и в его адрес неслись проклятия и ругань. Готовы были растерзать и разорвать его. Разгневанные родственники бросались на поиски Шио, но того и след простывал.

А Шио в это время прятался в церкви, в узкое окошко наблюдал за родственниками Ило, усердно очищающими могилу от скверны, и испытывал одному ему понятное удовлетворение.

— Да расступитесь же, дышать нечем! — сердилась Кабато на соседей, обступивших больного. — Вы что, не понимаете? Ему же воздух нужен... — последние слова она произнесла шепотом.

— Кабато права, — сказал врач.

У постели больного остались самые близкие, остальные вышли на балкон.

— Бедный Тандила...

— Крепкий был старик, лекарств вообще не признавал!

— Да, ты прав, впервые подкралась к нему болезнь, но, кажется, он уже не выкрутится.

— На что он все-таки жалуется?

— Харитон ничего определенного не говорит.

— На старость он жалуется, на что же еще? — сокрушались соседи.

Харитон, держа в белой руке волосатую руку старика, спросил:

— Как чувствуешь себя, дядя Тандила?!

Старик не ответил, лишь медленно повернул голову и молящими глазами уставился на врача.

— Немножко лучше, да?!

Больной еле заметно покачал головой.

— А помните, как он все хвастал, доктор Харитон, что вы ему не понадобится! — напомнила Кабато.

Врач приложил палец к губам и показал глазами на больного.

— Что со мной, доктор? — прерывающимся голосом едва слышно спросил Тандила.

— Не бойся, самое страшное позади, да и пока я жив, ничего с тобой не сделается, — сказал Харитон.

— Не оставляй меня, доктор! — взмолился больной.

— Скоро восемьдесят стукнет, а гляди-ка, как за

жизнь цепляется... — шепнула одна из женщин другой.
— Да разве это жизнь? Трех сыновей не дождался с войны, бедняга...

— Как он убивался, когда узнал о гибели сыновей, да время все лечит...

— Э-эх, жизнь все-таки сладкая штука! — продолжали перешептываться соседи на балконе.

Давно уже в этом доме нет хозяйки. Тандиле по очереди помогали родственницы или соседи. Сегодня «хозяйничала» Кабато.

— Ну ничего, Кабато, скоро Тандила встанет с постели и сам справится с домашними делами. А ты не жалей для него ласковых слов, как-никак, поговаривают, и ты была равнодушна к нему! — пошутил Харитон.

— Делать мне было нечего, как же!? Свет клином сошелся на нем!.. Да разве он глядел на девушек, в тому же таких озорных, как я, он больше за скотиной ухаживал.

— Да не о молодости я речь держу, а вот когда овдовела...

— И после того не сходила по нему с ума. Он и молодым был не ахти, а уж с возрастом...

— Ну ладно, ты бы лучше ласковое слово сказала, авось ему и полегчает.

— Если настоящее лекарство не помогает, что слово-то может сделать? Ему уже ничего не надо. Когда человеку под восемьдесят, он в тягость и окружающим и себе. Чем скорее успокоится его душа, тем лучше.

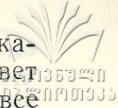
Кабато говорила так тихо, что больной не мог слышать ее.

— Подойди, Кабато, он взглянул на тебя и, кажется, улыбнулся.

— Ну, подошла... Если ему это поможет, я готова даже поцеловать его! — сказала Кабато громко и присела на кровать. Тандила, испугавшись, что она вправду поцелует его, отвернулся. — Ты чего нос впротишь? Спешешь встретиться с моим Сандро? Повернись, я хочу поручить тебе кое-что!

Больной привык к шуткам Кабато и не обижался. Более того, ему хотелось, чтобы она говорила, неважно что, пусть даже язвит по своему обычаю.

— Дай тебе бог еще долго жить на этой земле, мой



Тандила, но все мы люди... Так вот, как знать, если окажешься на том свете раньше меня, передай привет моему благоверному, скажи, чтобы не проглядел все глаза, меня ожидаючи, что мне не до него, во-он еще сколько дел надо утрясти!..

— Эх, ты уже считаешь меня покойником! — простонал больной.

— Покойником ты был смолоду, но коли ты дожил до сегодняшнего дня, то теперь мне уже не хочется уступать тебя смерти, пропади она пропадом, и чего ради ты так часто вспоминаешь о ней. Чего испугался, не всех, кто заболевает, провожают на тот свет. Что же говорить о Миха, он большую половину жизни провел в постели, и ничего, не жалуется. Нет, рано ты помирать собрался, ведь мы еще не объяснились в любви, в свое время не успели, так, может, теперь...

Кабато шутила, и больной, казалось, забывал о своих страданиях, а соседи на балконе посмсивались, утирая украдкой слезы.

— Эх, а все же хорошее было время, верно, Тандила, когда мы были молодыми. У тебя ветер гудел в голове, да и я была хороша! Виноват ты передо мной, очень виноват... Чего ты все подсылал ко мне людей, не мог сам сказать, чего хотел, ты что, язык занозил? Может, я и не отказала бы тебе! Ты мог в конце концов похитить меня, поверь, я бы не стала противиться и кричать.

У больного потеплели глаза, на увядшем лице заблуждала едва заметная улыбка.

Но вот он снова отвернулся к стене и уставился в одну точку. Время от времени он стонал, пытался что-то сказать, но лишь бессильно шевелил губами.

— Эх, плохи его дела! — обронила Кабато и стала убирать в стенном шкафу.

Да, Тандила умирал. Смерть все ближе и ближе подступала к нему, и никто уже не мог помочь старику, только жалели. И в самом деле, ну что за жизнь была у Тандилы. Не однажды в горестные для него дни мечтал он о смерти, когда же она пришла, стал цепляться за жизнь. Нет, он не считал, что прожил мало,

он лишь сожалел, что ничего после себя не оставляет, что безжалостное время все обратило в прах. Да было время, он посадил ростки, но жизненные бури вырвали их с корнем. И не оставили никакой надежды.

Тандила прожил свою жизнь честно и достойно, и не был он в тягость матери-земле. А уж как он любил и лелеял эту землю! Запах вспаханного поля был ему так же мил, как ласки возлюбленной, а колоссящую пшеницу или зеленую траву он поглаживал, как косы любимой. Подымался он задолго до рассвета, и уже в работе встречал появление солнца, первые лучи которого согревали и радовали его душу. И только вечером, когда уставшее светило отходило на покой, возвращался в дом и Тандила.

Он любил жизнь. Ему казалось, что смерть и горе никогда не коснутся его...

Женился он по любви и был счастлив, но недолгую жизнь его была безоблачной — жена умерла от родов. Нет, он не клялся на краю могилы, не обещал всенародно, что больше никого не назовет своей женой, но семь лет носил в сердце своем это горе. Однако родственники и близкие не давали ему покоя: «У многих умирали жены, но никто не ходил вместе с ними в могилу. Чти память о ней, но и себя не забывай. Ты не трава, чтобы вновь появиться на земле!». Долго еще сопротивлялся Тандила, но время взяло свое — и он женился.

Вторая жена тоже оказалась достойной его. Вновь поселились в их доме любовь да согласие. Она родила ему троих сыновей, и на небосклоне ярко засияли три звезды.

Не налюбуется Тандила на своих сыновей, и мать гордится ими, мечтает понянчить внуков. Да судьба рассудила иначе. Похоронил Тандила и вторую жену и теперь уже поклялся, что впредь не войдет в его дом ни одна женщина. И только сыновья скрашивали ему жизнь.

Старший сын учился в аспирантуре. «Вот защищу диссертацию и сделаю тебя дедушкой», — обещал он. А тут война началась...

Среднего сына не пришлось долго уговаривать. Он рано женился, но ничего путного из этого не вышло. Жена его оказалась женщиной легкомысленной, и не

дождавшись возвращения мужа с фронта, стала искать счастья на стороне.

Младший ушел на фронт совсем еще безусым юнцом. Вражеская пуля не пощадила и его.

Вот тогда-то, после третьей похоронки, и померкло солнце для Тандилы.

— Сколько горя принесла ему война!

— Да разве только ему? — горестно покачивая головой, перешептывались женщины на балконе.

А в комнате продолжала хлопотать Кабато. Приставив старый стул к стене, протирала пыльные фотографии. Но все ее внимание было обращено к Тандиле.

— Что, Тандила, небось жалко себя? — шутя спросила она.

— Нет, но... как знать... может, появится хоть один... Вон Симон... нашел своего через пятнадцать лет! — тяжело дыша, произнес он.

— И сын Шакрия недавно вернулся. А ведь не ждали его, считали погибшим! — напомнила Кабато.

— Да... может, господь смилостивится, обратит на меня свой взор, — простонал больной, устремив тусклый взгляд на фотографии сыновей. — Дай мне фотографии ребят... — чуть слышно добавил он.

Кабато вытащила из-за кромки помутневшего зеркала снимок, на котором были сфотографированы сыновья Тандилы, и подошла к больному.

Тандила протянул дрожащую руку, чтоб взять фотографию, но рука бессильно упала на одеяло. Он причмокнул сухими губами, и Харитон, догадавшись, чего он хочет, приложил фотографию к его губам. Тандила дрожащими губами коснулся снимка. «Где вы, родные мои?» — прошептал он, скупая слеза выкатилась из глаза и застыла в морщине увядшего лица.

— Неужели ни один из них не вернется? — произнес он прерывающимся голосом.

— Почему же?... Только надо крепиться, Тандила!

— Помоги мне, Кабато, укрепи меня! — снова с трудом прошептал он.

Доктор встал, задумчиво прошелся по комнате.

— Я сделал все, что было в моих силах. Больше не могу здесь сидеть, мне надо и других больных навестить.

— Если вы уйдете, доктор, он огорчится, как дитя малое, и впрямь может скончаться.

— Вы меня так замучили, что, кажется, я скончаться раньше него!

— Он надеется на вас, как на бога...

— Нет, не готов он к смерти...

— Пульс ведь у него пока нормальный?

— Да. Пока ничего... И говорить он стал лучше.

— Но этого ему мало, он хочет поправиться так, чтобы вскочить с постели и выкупать своего буйволенка, — сердилась Кабато, как настоящая хозяйка дома.

— А что удивительного, пожить еще хочет, несчастный.

— Он будет жить, доктор, а?

— Трудно сказать... А ведь все ждет сыновей, все зовет их!

— Доктор, вот что я думаю, — Кабато отвела его в сторону. — Он так слаб, что не протянет и двух дней. Я это знаю! Так пусть он умрет с уверенностью, что один из сыновей жив и объявился... И смерть уже не будет страшна ему, не будет он так мучиться, бедняга.

— Это было бы милосердно, но...

— А может, это известие придаст ему силы?..

— Как? Он ведь не ребенок...

— Не ребенок, говорите? Да он давно уже впал в младенчество. Пусть позовут Коротышку, я все устрою.

— Не знаю, не знаю... — растерялся доктор и снова присел на постель больного, который не обращал внимания на их перешептывание.

Кабато вышла и вскоре вернулась, а вслед за ней в комнату шумно ввалился почтальон.

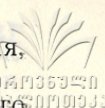
— Здравствуйте, люди добрые! — радостно выпалил он и, не глядя ни на кого, направился прямо к больному.

Соседи, стоявшие на балконе, с любопытством уставились на Коротышку.

Тандила медленно повернул голову.

— Чего разлегся, да еще собрал вокруг столько народу! — заулыбался почтальон.

Тандила чуть заметно пошевелил губами.



— Нашел время валяться, вставай, весть-то какая, гляди!..

— Чего ты расшумелся? — сердито прервала его Кабатю.

— Пусть... пусть говорит... — прошептал больной.

— Все уже знают об этом, а вы, как я погляжу, ничего не ведаете?

— Го... говори же... ну... — Тандила чувствовал, что почтальон пришел с какой-то вестью, и с надеждой уставился на него.

— Арчил, твой Арчил объявился, Тандила!

— Арчил... — больной не поверил собственным ушам. — Что он сказал, Кабатю?..

— Жив, оказывается, жив твой сын, — громко произнесла Кабатю.

— Разве... так шутят... — старик во все глаза смотрел на почтальона.

— Нет, это не шутка, Тандила, вот же телеграмма... «Дорогой отец...» — начал читать он.

— Сын... мой Арчил... — старик разжал губы и улыбнулся. На глаза навернулись слезы.

— Объявился твой сын, Тандила, счастье-то какое, объявился! — не глядя на него, всплеснула руками Кабатю.

— Это правда?.. — старик обвел всех взглядом. — Где он?.. Я знал... Сердце подсказывало... потому и не хотел умирать. А вы небось думали, я за жизнь цепляюсь.

На балконе кто-то из женщин всхлипнул.

— Я знал... сын мой... — Больной почувствовал прилив сил, радость окрылила его, надежда придала силы. Он даже попробовал привстать, оторвал от подушки голову, но тут же бессильно опустил ее.

— Говорил же я... говорил... объявятся они... Никогда я никому не причинял зла, так почему же должен был вымереть весь мой род... А он... пишет, когда придет?..

— Этим я обрадую тебя попозже, дорогой мой Тандила! — ответил почтальон.

— Хороший ты человек, Коротышка... Двадцать

лет не переступал порога моего дома, а вот пришел... принес радостную весть...

Тандила замолчал, почему-то долго смотрел в потолок, потом перевел взгляд на Кабато.

— А вдруг он появится неожиданно, а? Помните, как это было с Караманом... Вслед за телеграммой сын появился... Люди... не уходите, смотрите, какая радость у меня!.. Откройте квеври в честь моего Арчила, я хочу благословить всех... Чего вы ждете... Ну, Кабато, Коротышка... — хотел было сказать громко Тандила, но произнес эти слова чуть слышно.

— Появится, не волнуйся! — уверенно сказал почтальон и непроизвольно посмотрел в окно.

— Приехал?.. Где он?.. — произнес с трудом Тандила и попытался привстать. Он хотел сказать еще что-то, но радость отняла остатки сил, он задышал часто и тяжело, пожелтевший лоб покрылся испариной, он забился в холодном ознобе... и закатил глаза. Перед взором его появились сыновья, они улыбались ему, но вот вокруг потемнело, и в этом черном тумане он уже не различал сыновей, темнота сгущалась и давила на него всей тяжестью. Вдруг силы вновь вернулись к нему, он весь напрягся, даже попытался приподняться, но, точно сорвавшийся с дерева лист, опустился на постель... и душа его рассталась с телом.

— Умер... — тихо произнес доктор.

Женщины заголосили.

— Неожиданная радость убила его... может, жил бы еще, несчастный... — с упреком сказал кто-то.

— Разве это была жизнь?.. Днем раньше, днем позже — какое это имеет значение? — проговорил второй.

— Коротышка виноват. Он такую весть принес, тут не то что больной, здоровый не выдержал бы, — добавил третий.

— А я-то здесь при чем? Как мне велели, так я и сделал! — обиделся почтальон.

— Ишь расшумелись! Тут покойник лежит, а вы? — прервала их Кабато. — Лучше подумаем о том, как отдать ему последний долг... А прежде всего закроем бедняге глаза.

...Хоронили Тандилу всем селом.

Перевела Д. ВЛАДИМИРОВА

СТАРАЯ ПЕСНЯ ПЛОТОГОНОВ

Плотогоны, свои собирая плоты,
Здесь костры разводили когда-то.
Под покровом и времени и темноты
Все ушло по Куре без возврата.
Вновь из бревен каких-то я плот соберу,
Чтобы путь повторить плотогонов.
Но продольным веслом не ускорить Куру —
Столько мелей теперь и затонов.
Но кого бы хотел я догнать вдалеке,
Тех уж нет на земле, к сожаленью.
Мне по жизни, как по обмелевшей реке,
Долго плыть предстоит по теченью.
И никто со свечой не придет на Куру...
Подгоняемые волнами,
Свечи долго не гасли тогда на ветру,
На дощечках плывя за плотами...
Впопыхах я свой скарб набросаю на плот.
Чтоб свободно вздохнуть на просторе,
Пусть к далекому устью меня понесет.
Я хотел бы добраться до моря.
Через камни,
 коряги
 несомый рекой,
Жалкий плот мой рассыпаться может.
Что ж, у сплавщиков так и случалось порой,
Это вовсе меня не тревожит.
По течению будней мне плыть предстоит,
Доберусь ли до дальнего края?..
А река то молчит,
 то в порогах шумит,
На камнях белой пеной играя.



С. А. А. А. А. А.
С. А. А. А. А. А.

●
Каким бы твой мир
ни казался незыблемым, прочным,
все быстро проходит,
становится старым и прошлым.
А миг торжества,
окрыляющий, яркий, но краткий.
А время идет
и к земле прижимает лопатки.
И звон колокольный,
и запах далекого дыма
в пространстве затихнет,
рассеется неумолимо.
Чтоб годы прозреть,
не хватает ни мысли, ни взгляда.
И только любви материнской
ничто не преграда.
Столетье, как ветер,
опять над землей пронесется.
Лишь родина вечна
и неотделима от солнца.

●
День осенний, переутомленный,
Тихой тенью прикивал к земле.
Горизонт, как провод оголенный,
Растворялся в предзакатной мгле.
А предзимье сумрачное это
Самого мороза холодней.
И казалось мне, что до рассвета
Не одна, а тысячи ночей...

●
К. К.

Здесь дух тбилисский выдержан и стоек.
Привычен и любим родной район.
Прожив три года в зоне новостроек,
Ты вновь вернулась на мтацминдский склон.



Здесь дышится трудней, а думать легче,
Естественней и проще вспоминать.

И кажется,

вновь укрывает плечи

Заботливо пушистым пледом мать.

И ласково щекой прижавшись к пледу,

Как к материнской сморщенной руке,

Ты мысленно продолжишь с ней беседу:

— Наш старый дом стоит не на песке,

А на гранитном, на мтацминдском ложе.

И пусть снаружи наступает мрак,

Холодный ветер времени не сможет

Задуть священный дедовский очаг.

А на пути моем растут колючки,

Косые взгляды чувствую спиной.

Пусть будет все, как есть.

Так даже лучше,

И жизнь моя не может быть иной.

А встречным покажусь я одинокой,

Но я довольна собственной судьбой.

В моей душе вновь голос твой далекий

Звенит,

Как колокольчик золотой.



Тропинка белая,

скажи на милость,

Куда ведешь? —

ведь склоны так круты.

Как ни бежала, как бы ни стремилась,

А где-то все равно прервешься ты.

КАРИАТА

Вновь кажется, что слишком много

Небес ярчайших надо мной.

О, ветра ясная дорога,

Насыщенная синевою.

Дорога ветра — Кариата

В мою Анаклию ведет.

Вот здесь я молод был когда-то,
Но кто нам молодость вернет?..
Ведь юность ветрена и кратка.
И прошлое нельзя догнать,
Раз деревянная лошадка
Туда сумела ускакать...
Но я в село вхожу в надежде,
Что дело вовсе не в годах.
И кажется, что ты, как прежде,
Сейчас появишься в дверях.
Судьба не слушает уздечки.
А мне пригидится опять —
Дым из трубы идет — то в печке
Хлеб свежий выпекает мать.
Все на былое так похоже,
Но жизнь иная здесь идет.
Друзья, вы постарели тоже
От дел, событий и забот.
И может, нам не так уж много
Осталось радости земной,
Где ветра ясная дорога,
Насыщенная синевой...

Перевел Сергей АЛИХАНОВ



КАРНАТА

ИЗ «МАРТВИССКИХ
РАССКАЗОВ»*Боковая
подсечка*

НЕТ у него шанса против Лексо-кабана, ни единого шанса, да и какой, спрашивается, может быть шанс, семьдесят четыре — не семнадцать и даже не шестьдесят. А Лексо, к тому же, как был кабаном, так им и остался, надвое, ей-богу, переломить может и переломит, коли чуда не произойдет какого, старческие кости хрупкие и полые, как высохшие ветки дерева — коснись просто — хрустнут — поди потом накладывай лубки. Да поздно уже отступаться, нет, не старческая то гордыня, откажись он — никакого, считай, урону для гордости его не будет, люди поймут, еще как поймут, но дело тут в другом. С того и началось все. Кто теперь помнит Шашо-чорну, Резо-партэ, Сосо-скелу¹, а ведь борцы были не чета нынешним, хороши, ох и хороши, всем хороши — и статью, и силой, и хитростью борцовской — мартвисская боковая подсечка мир обошла и многих непобедимых палаванов к коврам припечатала. Подсечка подсечкой и осталась, а про тех, кто ее придумал и в дело пустил, забыли, как будто их вовсе не бывало. Негоже это, когда люди своих предтеч не помнят, не к добру такая короткая память, не к лицу она человеку. Молодой — он что, он жить торопится, все вперед глядит, назад не оглядывается, да и некогда ему оглядываться.

¹Партэ — широкий, скели — толстый (груз.).

Вот когда нужны старшие, разговорами тут не поможешь, трудно слову в душе задержаться, коли ему уцепиться не за что, лучше раз показать, нежели сто раз сказать.

Вот и поехал Закара к Лексо-кабану, не в гости поехал, на схватку вызвать, не пристало старшему к младшему наведываться первым, да куда тут денешься, когда надо.

Удивился Лексо несказанно его приезду, в лучшие времена не удавалось ему Закару в гости к себе зазвать, да и случай подходящий все не подворачивался, а теперь на тебе — сам пожаловал, да еще наряженный, как на свадьбу. Удивился Лексо, но виду не подал, ослабился радушно, с почетом в дом препроводил, усадил на мягкий стул, кликнул жену, чтобы на стол накрыла, а сам напротив дорогого гостя на стуле пристроился, о здоровье справился, о близких расспросил и уши наострил, чтобы вызнать причину его приезда. Но Закара медлил, тянул время, то ли с мыслями собирался, то ли не решался просьбу свою высказать. Пусть его, откроется рано или поздно, не затем ведь путь такой долгий проделал, чтобы вежливыми вопросами—ответами отделаться. А все любопытно, что могло привести Закару к Лексо. Пути их и раньше не дуже пересекались, а на старость глядя и того реже, разве что на похоронах да на свадьбах столкнутся невзначай, парой—другой слов перебросятся дружелюбно, но без близости излишней, даром что приходились они друг другу дальними родичами. Именитый был человек Закара, умом славный, в обычаях искушенный, на совет тароватый и на подмогу безотказный — многие люди немало добра от него знали и помнили, а ведь не было у него за плечами ни школ каких, ни институтов, простым кузнецом в селе всю жизнь проработал, три пупка, поди, надорвал да износил, молотом помахивая, три шкуры у горна спалил и новой оброс, крепче прежних. Неуемный, неутомный мужик, и старость ему не в старость, ни на йоту не изменила. Иные в его летах все на боковую норовят, прожитыми годами похваляются, молодым глаза колют, брюзжанием всех донимают. А Закара живет как жил — скальная порода да и только, ливни его бороздят, ветры выветривают, зной да стужа ло-

мят-корезат, а он стоит себе и стоит — мхом не об-
растает, крошиться-не крошится, изнутри не выламы-
вается...

Сидит Закара напротив Лексо-кабана, мается, как к делу подступиться, не знает, а что коли Лексо неверно его поймет, на смех поднимет, либо, что и того хуже, с ума спятившим сочтет. А Варо—жена Лексо, и на стол уже накрыла, и к столу мужчин позвала, да еще мимоходом успела Закару о домочадцах расспросить. Закара что-то отвечал, что-то жевал, чем-то запивал, но весь при этом был в своих мыслях смутных.

Наконец, собравшись с духом, Закара выложил с чем пришел. Лексо ушам своим не поверил, не ослышался ли, де, часом. Но Закара вызов свой по всей форме повторил, а кому, как не ему было знать, покаковски этот самый вызов делается. Налил Лексо вина сначала себе, потом Закаре, прищурившись, посмотрел сквозь ясную янтарность стакана на свет, глубоко вздохнул и выпил тост за Закару. Поблагодарил Закара хозяина, выпил стакан до дна и выжидательно уставился на Лексо, ведь ответа на свой вызов он все еще не получил. А Лексо не знал, что ответить. С одной стороны, нельзя старика отказом обижать, а с другой — сраму не оберешься, выиграешь ли, проиграешь — все в проигрыше останешься, засмеют люди. Правда, силой бог не обидел, седьмой десяток разменял, а сила по-прежнему вся при нем, но ведь не за тем же сила при нем осталась, чтобы против старого уважаемого человека в ход ее пускать. А Закара, словно бы мысли его угадал, строго так глянул на него из-под бровей кустистых и сказал:

— Не сочти за похвальбу, Лексо, но со мной понарошку не поборешься, у старого быка даже рог землю пашет, сила твоя мне известна, да и сноровка тоже, с того я тебя и выбрал. А хлипких мне и задаром не надо. Говори не таясь, согласен или нет. Неволить я тебя не стану, каждый свое дело знает и по зубам себе кость выбирает...

— Огорошил ты меня, дядюшка Закара, ей-богу, что водой ледяной окатил. Куда нам бороться, да еще на людях, борьба — дело молодое, не по плечу нам, старикам. Осмеют нас люди, от шуток липучих до конца жизни нашей, поди, не отмоешься. А так, ви-

дит бог, не прочь я, не внове мне вроде, да и старинной тряхнуть не грех. Но не могу я, не могу при всем честном народе позориться, что внуки скажут — свихнулся, видать, дед от старости...

— Э-э, Лексо мой, народ всегда пестрый был и будет, когда один смеется — другому не до смеху и наоборот. Всем не угодишь, кто-то непременно в обиду останется. Делай, что душа твоя просит, да так делай, чтобы все разом на кон, без остатку, тогда и человек тебя поймет, и природа. Так по рукам!

— Да куда от тебя денешься-то, дядюшка Закара, ты так скажешь, даже камень усовестишь, не то что меня. Говори, где я должен быть и когда. А чоха у меня своя, авось, не обветшала. Правда, не знаю, налезет ли, я ее без малого два десятка лет не надевал, лежит себе, лавровым листом от моли бережется да палавана — не мне чета — ждет, не дождетя...

— Давно бы так, а то я в тебе даже усомнился малость. Знаешь, где старый мартвисский ток, на пригорке который, не доходя до кладбища? Вот там мы и схватимся через два воскресенья, часов в пять пополудни. А до того мне с народом потолковать надо опилок привезти, скамейки вокруг поставить. Да и чохи раздобыть следует. Правда, у меня тоже своя имеется, я уже примерял — в самый раз, погоди чуток, вот разменяешь восьмой десяток и ты мигом спадешь с тела... А чохи для желающих нужны, авось, молодежь раззадорится и пойдет потеха, как в былые времена...

— Что-то мало я в это верю, позабыта наша борьба вчистую, у молодежи нынче другие забавы пошли, сила-то есть, да сдается мне, не на то она тратится, впрочем, как знать, может, как раз мы ее не на то тратили, нынешним ума не занимать...

— Сегодня борьбу нашенскую на ветерпустишь, завтра — отца с матерью позабудешь, а там, глядишь, запамятуешь напрочь, кто ты и откуда, вот как оно бывает. Такое время теперь... Прощай, Лексо, благодарствую за хлеб-соль, а больше за слова добрые.

И сошлись их корявые руки в не по-стариковски крепком пожати, ставшем залогом грядущей схватки молодецкой на старом мартвисском току.

И пошел-полетел слух по всей округе. Отложили

1935333
1935333

люди ради дела такого кто свадьбу, кто крестины, а кто застолье дружеское, загодя слаженные и назначенные. Вот только похороны, как ни тужишься, отложить не удастся — у смерти свой срок и норов. Но коли случится на беду такое — ведь час-то в руках человеческих!

Кикала на своем тракторе-тарахтелке опилок навез — пропасть, бык рухнет — не ушибется, а пружинят под ногами — птицей взвиться впору. Лавки вокруг тока сбили, место для прохода оставили, все чин-чином. Только вот молодежь зубы скалит, животики надрывает, языки всласть чешет. Ерничает напропалую, стариков покусывает, а те не на шутку серчают, клянут на чем свет жинцы, ляжки обжимающие, и майки со срамными рисунками, словечками, поди ты, непотребными, иначе почему не по-нашенски написаны, от них, дескать, непочтительность к старшим и напасть всякая, даже отстегать охальников по мягкому месту не с руки, попробуй-ка стянуть с них штаны те линялые — сапог литой стянуть с ноги и то проще...

Так оно или эдак, настал, наконец, день долгожданный. Бог миловал — ни единого покойника на всю округу. Видать, выгадали болезные да смертью отмеченные день-другой, не поторопились и второй ногой в могилу встать. И погода подгадала, как по заказу, ни тучки с самого утра на небе, ни облачка, будто вычистили, вымыли его да в синьке прополоскали. И солнце туда же — незнойное, хоть и яркое.

Народу стеклось — почитай, вся мужеская часть округи — даже земоурцы и те через гору перевалили, харч в хурджинах про запас прихватили. И те приковыляли, кто месяцами носа за порог дома не казал по немочи да хворости. На что уж Гиги слеп, что твой крот, и тот заявился со своими подслеповатыми дружками по завалинке — уши у них на макушке заместо глаз, как у мышей летучих, — вот и заявились.

Тех, кто постарше да поуважаемей, на лавки, вокруг тока которые, усадили, другие на пригорке устроились, мелкота у ног взрослых прикорнула, на деревья позалазила, чтобы повидней было. А юнцы, ребята бедовые, в стороне в кучки посбивались, семечки лузгают, картинно сплевывают, похохатывают напоказ, подталкивают друг дружку, трын-трава нам,

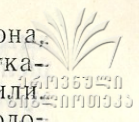
дескать, все это, нас штучками старикашечьими не
шибко-де проймешь, но нет-нет да и поглядывают од-
ним глазком в сторону тока. А там мельтешишь меша-
ется народ, гомонит празднично, подначками обмени-
вается, не щадит словом перченым никого, невзирая
на лета. Только запозднились что-то Лексо с Закарой,
замешкались нежданно. Уже и мальчуганов шустрых
за ними шуганули — поторопить маленько. Злые язы-
ки слухок поганенький по кругу пустили, обдурили-де
борцы-самозванцы народ честной, заманили в ре-
ку, да на стремнине оставили, подзавели-подзадо-
рили, а сами в кусты попрятались, немудрено, куда
им в схватке сойтись, когда за бока из последних си-
ленок держатся, как бы не рассыпаться ненароком.
Горько старикам было слышать такое, со скамеек
повскакали, горой за ровесников своих встали, не той-
де они породы, чтобы народ за нос водить, стары —
это да, но крепости мужеской им у нынешних не за-
нимать стать, не изменники они слову молвленному,
пусть ползком, а доползут, коли обещались. Препира-
лись так мужи почтенные, ярились от напраслины,
горло до хрипоты надсаживали, жилы на шеях худых
рвали, вот-вот за грудки ухватят облыжников, чтобы
не пустовал ток понапрасну. Но тут зурна заверещала
взахлеб, барабан дробью зашелся, гармоника тягу-
че залилась. Смолк расходившийся было народ, уго-
монился, дружно головы к проселку повернул, шеи по-
вытягивал, стараясь не упустить даже малой малости.
А по проселку тому, пылью запорошенному, Закара
с Лексо-кабаном, мальчишками облепленные, рядком
выступают, в ногу шагать пытаются, даром что За-
кара семенит бойко, а Лексо переваливается косолапо.
Подошли к народу, поздоровались чинно, с расстанов-
кой, в разные стороны тока разошлись, к схватке го-
товиться принялись. Стянул Закара косоворотку, а за
ней рубаху исподнюю, обнажил худой, мускулистый
торс с редкими седыми волосами на груди, кожа мор-
щинистая, дряблая, с кирпичным оттенком, надел ви-
давшую виды синюю чоху-безрукавку, перепоясался
туго синим же кушаком, брюки опустил, в холщовых
шароварах остался, на корточки присел, чтобы ремеш-
ки каламани потрепанных затянуть как следует. И
Лексо туда же, пиджак скинул, сорочку сторожко



снял, как бы не лопнула ненароком, майку жгутом скрутил, трудно через голову стащил, да все без толку — раздетый он все одно, что одетый — руки, спина, грудь — все бурой шерстью кучерявой покрыто, словно полшубок для смеху вывернул и на голое тело натянул, плечи — что головки тушинского сыра в меху, пузо от подбородка, почитай, всходит, тугое, как барабанная полость необработанная. Два мужика еле-еле чоху на него малиновую натянули, не сходится и все тут, хошь стягивай, хошь нет, кушаком алым с грехом пополам перепоясали, готов вроде. Навалится такой — косточек, поди, потом не сочтешь, хотя, как знать, в борьбе грузинской сила хорошо, а смекалка да сноровка лучше.

Ходят, бывало, борцы перед схваткой, перед народом красуются, статью похваляются, друг дружку стращают, удаль выказывают. Вот и Закара — круто замешан старик! — колесом на руках прошелся, мятое, скособоченное, правда, оно получилось, да все колесо. Зажегся народ, видя такое, заерзал, задвигался, но и тут злые языки не преминули дегтю подмешать — не по летам-де прыток, незачем вроде коленаца такие выкидывать, перед сосунками срамиться. Да кто их слушает... А тут еще Лексо доску дюймовую о грудь хряснул, щепки во все стороны полетели. Но это все так, для затравки вроде, зрителей подзудить и себя подогреть... И сошлись они в середке тока, руку друг дружке пожали, будто впервой с утра повстречались, потом отошли и вновь сошлись, в схватке на сей раз. Ухватились одной рукой за кушаки разноцветные, другой по загривку да по плечам похлопывают, слабинку нащупывают, момента ищут, как бы подсечь ногой и на опилки шмякнуть. Лексо-кабан горой над Закарой навис, все норовит к пузу могучему его притиснуть, чтобы сгрести половчей да бросить через голову, а Закара все не дается, из захвата уходит, вьюном вьется, от пуза подальше держится. Топтались так, топтались, задышали трудно, со всхрипами, пот градом с Закары полился, да и Лексо-кабан мокрый, словно вэдей его окатили. Изловчился тут Лексо, подхватил Закару, в воздух поднял, но прогнуться так и не сумел, крикнул раз-два — не получается, а Закара ногами худыми сучит, себя утяжеляет, хватку моло-

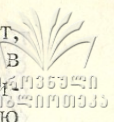
децкую ослабить пытается. Попыхтел-попыхтел Лексо, да и опустил Закару на землю, а тому только-то и надо, подсек ногой ногу Лексо — боковая мартви-ская по всем правилам, красота, как в былые лучшие года! — и бросил Лексо пузом на опилки, а сам коршуном сверху налетел. На что уж Лексо тяжел да неповоротлив, а вывернулся, задыхаясь, на ноги поднялся, но утвердиться на ногах ему Закара не позволил, снова подсек его и через грудь бросил, да сноровка, видать, не та стала, не успел из-под брюха Лексо уйти и рухнул боком на опилки, а Лексо сверху придавил его всей тяжестью громадной. И хрустнули тут ребра у Закары, да так, что на округу всю слышать тот хруст страшный. Повскакали все с мест, с пригорка на ток бросились. Захлебнулась зурна, барабан бухнул тоскливо, оборвалась на вздохе гармоника (а ведь как лихо музыканты наяривали — любо-дорого). Подхватили Лексо под руки могучие, оторвали от Закары, на ноги поставили, а Закара лежит на боку, ноги к животу подобрал, скрючился, губу закусил от боли великой, земле под стать цвет лица его сделался. Поднять его бросились было, ухватили за руку, а он рукой этой отмахнулся, не трожьте, дескать. Все и отпрянули, как бы больней ему ненароком не сделать. Тут юнцы, что в сторонке до того стояли, набежали, они и раньше еще поближе подобрались, но с толпой не смешивались, как бы и вместе, а все же врозь. Не поймешь их, то ли проняло их зрелище это, то ли нет, но глазели они на Закару с робостью. Так вот. Полежал себе Закара, полежал, потом вдруг перевернулся на грудь, хотя на спину вроде бы и сподручней было, но поди попробуй борца такого на спину лечь заставить — на колени встал, правой рукой об опилки оперся, поднялся скособоченно, колесом давешним согнутый, левая рука маятником застывшим висит под углом к боку разбитому. «Рубаху дай», — просипел чужим голосом Закара, и Гогла-недотепа мигом рубаху ему протянул. «Чоху сними», — проскрипел, как шарманка на холостом ходу, и десять рук потянулись кушак развязывать. Развязали, освободили его от чоху осторожно, как бы бок не потревожить. «А теперь стяните меня рубахой, да потуже». Люди хотели было рубаху по шву разодрать на перевязку, да Коба-



цирюльник не дал — во-первых, жалко, новенькая она, ненадеванная, а во-вторых, сложить ее вдвое, да рукава затянуть так, кажись, попроще. Так и порешили. Коба с разбитого боку зашел, под руку висячую подобрался, приложил сложенную в длину рубаху к нижним ребрам и принялся медленно рукава стягивать. «Да поосторожней ты, не видишь, что ли, человек от боли сомлел». «Не слушай ты их, Коба, вытерплю я, потуже, потуже затягивай», — хриплым шепотом, едва раздвигая почерневшие губы, повторял Закара. И терпел, да как еще терпел. Коба захлестнул рукава на правом боку, по второму разу их вокруг туловища обвел — и на болящем боку узлом тугим связал — какой же он, оказывается, худющий, Закара наш, а духу-то, а духу сколько в теле зряшном. Выпрямился Закара, вопросительным знаком согнут, а все лучше, нежели колесо кривое. А Лексо-кабан тем временем на лавочке отходит, глаз с Закары не сводит, болью его болеет, весь, видать, изболелся, покладистость свою клял, казнил себя, виноватил, Закаре под стать лицом вылинял. Но какая в том его вина! Случай да старость тут кругом виноваты, вот кто, а еще настырность несусветная впридачу. Так оно или иначе, когда арба перевернется, лишь тогда дорога покажется, а кабы знать, где упадешь, соломку бы подстелил... А что же Закара? Выпрямился, как сказано, худо ему, но держится из сил малых, последних. Рукой правой взмахнул, ничего, мол, со мной не сделалось, успокоил народ, тревогу погасил. И пошел. Расступились люди, дорогу ему дали, на проселок выпустили. Лишь Гогла-недотепа да Коба-цирюльник за ним увязались — у Гоглы чоха борцовская в руках, что с Закары снял, а у Кобы косоворотка его же. Это они для отводу глаз несут, чтобы Закаре подсобить до дому добраться, да разве Закару проведешь. Остановился вдруг, на топот их ног обернулся, подождал, когда они поближе подойдут. Потом, глянь, отобрал чоху у Гоглы-недотепы, подхватил половчей, да как кинет ее прямо в кружок юнцов сгрудившихся. Те от неожиданности рты было поразевали, да мигом очнулись, руки вперед выставили, схватили чоху, каждый к себе потянул. Закару от боли всего скривило, пот беднягу прошиб, но увидев, как юнцы в чоху вцепились, просиял весь,

хмыкнул довольно, принял у Кобы косоворотку и пошел своим путем. Загалдел, задвигался народ, кто-то музыкантов окликнул. И взвизгнула зурна, грохнул барабан, очнулась гармоника. Лексо оклемался, ожил, на человека стал похож. Выпростал руки могучие из рукавов чохи, оглядел народ на пригорке, не нашел, видать, кого искал, повернулся тогда к юнцам, из-за чохи препирающимся, и бросил им еще и свою чоху, малиновую. Подхватили ее с десятков рук, а еще с десятков тут же к ней потянулись. Лексо тем временем майку жгутом натянул, сорочку в брюки заправил, пиджак надел и рядышком с музыкантами на лавке пристроился. А Закара, не оборачиваясь, по проселку вышагивает, левая рука вдоль туловища болтается, правая косоворотку волочит, пыль рукавом подметая. И разлилось солнце по плечам худым да лопаткам острым. Шел он медленно, туго обтянутый рубахой по пояс, шел, со всех сторон обложенный встревоженными взглядами людей. Зашел за косогор и исчез, растворился в вечеряющем воздухе...

А между тем юнцы, что попроворней оказались, чохи, глянь, вырядились, кушаками перепоясались и на середку тока бочком так вышли, на галдящих людей озираются, не знают, как к делу подступиться. Увядший было народ страстью снова налился и в азарт вошел, потеху новую предвкушая. «Давай, кричат, давай», а юнцы-неумехи на месте топчутся, от силы, наружу прущей, мышцы на руках-ногах лопаются, бычаты, злость в себе будят, поддень чуть — в небо взвоятся. Вышел тут к ним Лексо, судьей вроде: одному подошел — чоху на плечах поправил, к другому повернулся — кушак потуже стянул. Одному что-то на ухо шепнул, другого по шее потрепал, потом между ними встал и друг к дружке подтолкнул. И музыке рукой знак подал, чтобы дали жизни, значит. Как пошло тут, поехало. Юнцы петушками прыгают, половчей друг друга ухватить норовят, народ кричит, советы дает, полешки в огонь подбрасывает, у зурнача щеки от усердия трещат, барабанщик ладони вчистую отбил, гармонист гармошку надвое разорвать пытается. Все чин-чином идет, только вот схватка никак по швам не склеится, затискали борцы друг дружку, чохи едва вдрызг не изодрали, да толку чуть. Лексо то сбоку



заходит, то вокруг, как старый цепной пес, кружит, то на корточки приседает, впору самому опять в схватку ввязаться. А юнцы-зрители свистят, сотоварищей подзуживают, чохи дожидаются, чтобы удаль свою испытать, урок дружкам преподать...

А Закара только с глаз людских скрылся, шаг замедлил, а потом и вовсе остановился. Дыхание с хрипом вырывалось из почерневших губ, каждый вдох-выдох молнией вспарывал бок, делал боль в нем вконец невыносимой. До дому недалеко, а идти не вмоготу уже. Попытался было косоворотку натянуть, да куда там, на голову с трудом натянул и оставил ошейником болтаться. Так или иначе доплелся до дому, скрючившись, протиснулся в калитку разбитым боком, под навес шагнул и рухнул на старую тахту. Тут жена его и обнаружила. Запричитала она, заклохотала, проклятия так и посыпались из широко разинутого беззубого рта, да разве проклятьями дело поправишь. Захлопотала над обеспамятевшим мужем, соседку на подмогу призвала и с грехом пополам отходила Закару..

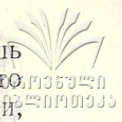
Памятник

Да никакой он не пьянчуга, ни в коем разе, нечего на человека зря напраслину возводить. Враль—это да, пустомеля несусветный, язык без костей, что угодно смеlegt, только уши развесь, но пьянчуга — да никогда не бывало такого. А то, что он точно пьяный ходит, разобранный да разболтанный, и то и дело к земле клонится, словно колесо аробное с оси соскочившее, вот-вот свалится, так это все оттого, что нет у него стержня внутри, холодец какой-то, то в одну сторону расползается, то в другую—не соберешь. Да еще вот зуд его одолевает, язык чешется, лишь бы слово какое сболтнуть, а правда то или нет, поди, дознайся, коли охота, да и у кого дознаешься, разве что половину света опросишь. Враль—на то он и враль. Зряшный человек, понятно, с того и вино ему в голову сразу бьет, оно ведь, известное дело, слабое место ищет, да и находит без промашки. Стаканчик какой пропустит, воробью нипочем, а его разберет, разбередит, понесет вскачь, все постромки мигом пообрывает, такого наговорит — не продерешься, а все занятно. И откуда

только в голове его мелкой, что орех лесной, бредней столько набирается, небылиц копится, слов чудных выводится — ума не приложишь. И хоть бы загодя придумывал, а то тут же, при тебе, не сходя с места крестом вышивает, соловьем целкает, свирелью свистит, аж в глазах темнеет, а ведь слушаешь, а ведь веришь, дьявол его побери.

Делом его каким займешь, подсобить кликнешь, потом весь век себя клясть будешь — и сам ничего путного не сладит, да еще и тебя отвлечет, заведет в лес дремучий—не выбраться, а дело как было, так и стоит, на месте топчется, землю трамбует. Вот какой он человек-то, Гайоза наш, ни рак, ни рыба, ни кость, ни мясо, требуха какая-то, да и только. Но зла от него ни единый человек в селе не видывал, напротив, кликнешь — придет, хоть свистни просто, да что там, незванный даже явится — не надобно ли помочь в чем, и все от щедрости душевной, даром, что карманы у него все в дырах, никто от него даже гроша ломаного не видывал. Стоит преставиться кому, Гайоза тут как тут, все панихиды выстаивает, от близких не отходит, поминочная готовка идет, и он тут же суетится, под ногами мешается, и льются из него слова складные, что вода из Анишурского родника, хоть кран ладь, пустое все, прорвет, как пить дать.

Хуже, коли опаздываешь куда, бежишь по делам очертя голову, а тут, на тебе, Гайоза навстречу подарочком неожиданным-негаданным, не обминешь, не отдерешь от себя, как репей пристаучий, от брючины оторвешь — глянь, за рубаху цепляется, а ты и за волосы норовит ухватиться. Не остановишься с ним, семенит рядом, а не поспеет — вприпрыжку по пятам побегит, остановишься — и тогда, почитай, пропал ты: уши увянут, все из головы мигом повывает, повыветрится — куда спешил, зачем спешил, что сделать надо да как, круги перед глазами, то ли стоишь, то ли падаешь, не разобрать—сухая беда, что паводок, когда бывает, Тэвали по весне через низкий берег перехлестывает. Не бить же его, в самом деле, да и кого-то бить, сморчок сморчком, одна кепка с ток размером на глазенки-бусинки чернющие нахлобучена и щетина недельной давности щеки худые гвоздиками обсела на лице птичьем. Как такого побьешь, и надо



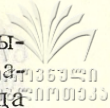
бы вроде, да грех, рука не поднимется, вот и стоишь дурак дураком, глазами хлопаешь, уши словами, что ветошью, набиваешь, и рот закрыть не можешь, гляди, язык вот-вот вывалится. Коли вызволит ненароком кто — ставь свечку в Апарани, а нет, простоишь полдня, а то и больше. Такие вот дела...

А жена у Гайоза была, скажу я тебе — ад сущий, таких злюк свет не видывал: пса бешеного укусит — хоть ветеринара зови псу уколы от столбняка вкагать, не то, считай, околет бедолага. Так вот, при ней Гайоза — боится что ли, пикнуть не смеет, молчит себе в тряпочку, будто немым на свет и родился, рта и то не раскрывает, с того, видать, и прорывает его на людях, не то, глядишь, задóхнется от речей невыговоренных, а их у него вон сколько — видимо-невидимо, вот и выговаривается, сердечный. И где, спрашивается, видано такое, чтобы так мужика замордовать, только, бывало, Гайоза рот откроет, речь наладит, только-только разбежится небывальщину какую из себя на головы наши покорные вытряхнуть, глянь-ка, откуда ни возьмись, благоверная его вынырнет, упрется в мужа глазами удавчими немигающими — и, на тебе, осекся Гайоза на полуслове, словно костью рыбьей подавился: рот нараспашку, глаза выпучены, стоит, что пень трухлявый, не шелохнется. А баба та как чиркнет по нас взглядом лютым, невидящим, рукой взмахнет, грозит вроде, и пошла себе, посеменила. Гайоза, тот губы высохшие языком онемевшим облизывает, дергается, скрипит, бедолага, видать, распирает его, а выговорить ни словечка не может. Мы его и так и этак в чувство приводим... по спине хлопаем, за ушами щечком, все впустую. Тут без стаканчика, бывало, не обойтись ни в какую: вольтет в себя нашего благословенного — глянь, по новой язык, узлом заплетенный, развязывается, слова с бульканьем утробным льются, как прежде. Ну, думаем, и на тебя управа нашлась, нашла коса на камень. Зарубили себе на носу: когда заговорит нас, бывало, Гайоза, когда укачает — заморочит насмерть, хоть святых выноси, сметливый да смекалостый самый мальчишку за женой его сгоняет. И придет та, как возмездие господне, судный день явленный, и, почитай, выцвел-вылинял человек, сохнет, иссыхает на глазах, что ручей мельничный в сушь вели-

кую, только дым чадный над головой вьется. И окукота тогда настаёт темная, жизнь, поди, отдашь, не жалко, чтобы затараторил, зачирикал вновь Гайоза наш, дрозд дурной, мартвисский. Вот ведь как...

Так про что мы говорили-то? Да, ох и жена же была у Гайозы — страх, из себя неказистая, ростоку — всего ничего, пигалица сушая, а заносится, да еще как, нос повыше Иально дерет, и голосище — рог охотничий, как заладит Гайозу честить да бранить, эхо по проселкам и проулкам разносится, скотину полошит, детей будит. И откуда только ее Гайоза в деревню нашу тихую привез, где раскопал сокровище такое—одному богу ведомо, да и тот, верно, спал, не иначе, а то с чего бы, спрашивается, за какие грехи наслал бы на голову нашу напасть такую. Вот и бегал от нее Гайоза, что заяц от борзой, во все стороны, до глубокой ночи, бывало, носа домой не казал, а выпадет случай какой — норовит всю ночь пробдеть напролет, лишь бы домой не возвращаться.

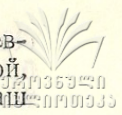
«Да пошли ты ее туда, откуда взял, ни шерсти от нее, ни приплоду, злоба одна несусветная», — корили в сердцах Гайозу сельчане подвыпившие. «Давно бы послал, да нельзя, зашлет меня тот, да так далеко — не выберешься, поди, жизнь всю. Или засадит за решетку, сухарей потом не напасетесь», — тряс Гайоза головой в кепке и пальцем большим вверх тыкал. «Оно-то так, коли не врешь, сила и солому ломит, — хмуρο соглашались мужики наши. — Да ведь, что порча, баба-то твоя ненаглядная, глядишь, всех наших баб перепортит, житья тогда от них не станет...» Куда денешься, никому ведь не охота, чтобы Гайозу за решетку упрятали, свой он, как ни говори, какой-никакой, а свой, мартвисский. Наврал Гайоза, верно, с три короба наврал, а что, коли правда, как тогда? Ведь по нему как выходило — брат у ней, у невестушки нашей, будь она неладна, большой начальник в городе, генерал вроде, да при том милицейский, а это брат, не шутка. Вон наш участковый-то, Малхаза, как в форме появится—чужой вроде, и робеешь перед ним, словно не он, а ты гнезда птичьи разорял и в виноградник соседский через лаз забирался. Милиция — она милиция и есть, особливо, коли в форме да при револьвере, а тот совсем чужой, городской, да еще



генерал... А про жену свою Гайоза сказывал, что выкрал ее по ошибке, заместо другой, пригожей, крапивше, говорит, по всей округе нашей не сыскать, да что в округе, в городе и то не густо, по пальцам, поди, перечтешь... А когда прознал, говорит, про ошибку-то свою, поздно уже было, деваться некуда. Генерал тот, вроде, Гайозу нашего под венец с револьвером повел, застрелю, мол, или в тюрьме сгною, если откажешься. Вот и пришлось ему, вроде, горемычному, за удаль свою окаянную расплачиваться, страхолюдину ту под кров отчий привести да женой наречь себе на горе, людям на посмешище... Нет, вы только послушайте, это Гайоза-то наш, храбрец огородный, невесту умыкнул, да ему курицу дохлую, и ту не увести, не то что бабу. Да и зачем, скажите на милость, кралю-то такую умыкать было, да такая, пальцем только ее помани — сама бы во весь дух примчалась, босиком бы по снегу прибежала. И то слово, прости господи, грех говорить такое, привяжешь добро это к дереву лесному веревкой бросовой, воры придут, веревку унесут, а ее-то и оставят. А он умыкать. Ошибка вышла, как же, револьвером, вишь ты, ему грозили генералы разные, нужен он им, ну просто позарез, вынь да положь вралья нашего. Им, видать, кепка его по душе пришлась, не иначе, да еще язык бескостный. Хотя, если подумать хорошенько, то дурня второго такого днем с огнем в целом городе не отыщешь... А генералов, надо сказать, в Мартвиси нашем отродясь не водилось, посмотреть бы хоть одним глазком, да врет все Гайоза, холера ему в бок, на то он и враль, иначе отчего же генералу тому к нам хотя бы разок не пожаловать, сестрицу проведать, зятя бестолкового приструнить да на путь наставить. Да и мы бы лицом в грязь не ударили, вино наше, саперави, небось, не из последних будет. Эх, Гайоза, Гайоза, нет тебе ни дна, ни покрывки. И зачем, спрошу я вас, бахвалиться зря, да и чем бахвалиться-то — женой, глаза б ее наши не видели, да генералом, что в глаза никто не видывал. Смехота... Так бы и катилась-тряслась на ухабах жизнь наша деревенская, словно арба по проселку, дождями осенними размытому: Гайоза ливмя бы заливал, мы бы слушали до колик в ушах, благоверная бы его гласом трубным трубила, скотину полошила, детей

будила, муженька своего живьем со свету сживала. Ан-нет, закрутилось-завертелось все, что жернов мельничный, да и обернулось так, что расскажи про такое Гайоза, ни в жисть бы никто не поверил, дескать, станется с вряля нашего. Да и сам Гайоза, на что уж мастак небыль всякую городить, никогда бы до того не допер, не додумался: жизнь — она и есть жизнь такое коленце выкинет невзначай — диву даешься...

Хворь на жену Гайозову вдруг нашла-напала схватила, скрутила и не отпускает. Гайоза, тот с нос сбился, что ни день—все новых врачей из города возит, те головой только качают, дивятся хвори неслыханной. пуд, почитай, порошков, пилюль да уколов разных прописали. Все их раздобыл-таки Гайоза наш, и откуда в нем прыть такая взялась, то у кого выпросил, то у кого, все без толку, хоть криком кричи, тает жена, что свечка на ветру, пожелтела вся, высохла, морщинами, что земля в засуху трещинами, покрылась. А Гайоза места себе не находит, изошел весь, мается, сердечный, веретенем вертится, да что тут поделаешь. коли сама она себя злостью своей непомерной на-смерть боднула да лягнула. А Гайоза кается слезно, себя кругом виноватит, казнит за грехи небызалье. черовен час—самому захворать в пору. А тут еще большой тот начальник из города, наконец, наехал, не побрезговал деревню нашу проведать, сестрицу занедужившую навестить. И вышло-то все так, как мы и думали, словно в воду глядели, на поверку не генерал он вовсе оказался, а трубодуй из оркестра духового милицейского, ядреный такой, щекастый от дутья трубу, видать, правда, чин-чином в форме милицейской, да какая он милиция, «генерал», одним словом, трубодуйский. И как начал он тут без трубы всякой на Гайозу трубить, как раньше, бывало, сестрица трубила — оно и видать, что одного корню-поля ягоды — скотина, почитай, озверела, а дети со страху великого в плаче зашлись. А Гайоза наш голову понурил, козырьком кепки землю пашет, носом подсобляет, верно, братец тот почище сестрицы оторопь на него навел. А «генерал»-то, генерал наш, ишь, заступничью сердобольный нашелся, хорошо еще, имя сестрицы единую кровной не запамятовал, пуще прежнего распалился, лютует, аж искры летят. Терпели сельчане наши



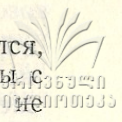
терпели, да не стерпели, и без того вся душа у деревни за Гайозу изболелась, какой он никакой, а все свой, мартвисский, родня вроде. И хоть не шибко люд наш деревенский благоверную Гайозову жаловал, стоило той захворать, все ей разом простил, да и помог, кто на что горазд. Так вот, как принялись сельчане за трубодуя того незадачливого, перья все из хвоста распушенного повыдирали, всю дурь из башки его тыквенной повыдували. Несдобровать бы ему, генералу самозванному, да гость — он гость и есть. К тому же в горе человек, как-никак жена Гайозова сестрой ему приходится, а горе, вестимо,—дурной советчик. Глянь—присмирел трубодуй наш, трубодуй-то он трубодуй, да мигом, видать, смекнул, что супротив деревни переть ему не с руки, не то и без головы остаться недолго. Присмирел, значит, трубодуй наш и даже вина нашенского отведал, ручной сделался, захмелел, расчувствовался, целоваться ко всем полез —не отдерешь. А сестрица видеть его не пожелала, простить, верно, не могла, что Гайозе ее силком сплавил, хотя кто его знает, что там было да как, не нашего то ума дело...

Долго ли, коротко, кончилась вскоре бедняжка, отмаялась, значит. На Гайозе лица нет — страх смотреть, зарос, что леший, почернел из себя весь, все дни, пока покойница дома была, ни крошки в рот не взял, вконец скособочился, а кепка на нос самый напозла. Причитал над покойницей, словно плакальщица какая, только что волосы не выдирали да щек не царапал. И слова из него жалостные так и лились, так и лились, не переставая. Все бабы деревенские слезами изошли, на него гляючи, видать, за живое их Гайоза задел, на всех нас, мужиков, окрысились, зверьем смотрят, вот, дескать, муж так муж, не чета вам, грубиянам неотесанным, сдохнем, а ни словечка от вас ласкового не дождемся. Вот ведь как вышло. Чудная все ж таки штука это наша жизнь-то—пока жива была Гайозова благоверная, как кошка с собакой сварились, а тут, э-эх...

А похороны-то, похороны были, скажу я вам, всем похоронам похороны. «Генерал» наш, почитай, всех трубодуев милицейских привез, где их только было столько, в формах все, и трубы разные на солнце золотом сверкают, глаза слепят. На всю округу, как

есть, музыка гремела медная да жалостливая, эхо, небось, до самого города докатилось, не иначе. Кто еще такого удостоится, чтоб села все ближние и дальние разом сошлись. Всю дорогу от деревни до самого погоста люди запрудили, идут и идут, ни конца им, ни краю, на трубодуев озираются — шею вконец свернули, подбородок с затылком местами поменяли, а те, видя такое, известное дело, стараются, дуют, аж щеки лопаются. Да и деревня наша в долгу перед ними не осталась, всем миром поминки честь-честью справила, какие в деревне лавки да столы были — все понатаסקали, сдвинули вместе, живность, почитай, всю вчистую свели, вина на похмелье даже не оставили, да и как иначе, деревенский люд наш, коли уважить его, ни за чем не постоит, имя и слава всего дороже...


Гайоза с трубодуями милицейскими сел, стаканчик свой за упокой души покойницы натошак выпил, вот и понесло его, как водится, да так понесло, что трубодуи те с непривычки ошалели малость, уши поразвесили, рты поразевали, заслушались, одним словом, да и мы, признаться, куда уж битые, страстей таких от Гайозы еще слыхом не слыхивали, силен, ох и силен, камень растопит — и ничего. А под конец Гайоза и вовсе разошелся, да такое загнул, хоть стой, хоть падай, дух у всех сперло, а трубодуя-сродственника, значит, нашего так проняло-прохватило, что он к Гайозе через стол обниматься полез, пузом своим неохватным кувшины, стаканы, тарелки наземь смахнул, едва не задушил руками могучими враля нашего. Ну, думаем, опять за старое взялся, заливает, известное дело, не впервой вроде, с него станется, коли он сродственничка своего бугая-трубодуя почем зря в генералы вывел. Знаем мы его, как облупленного, проспится, отойдет маленько, да и сам позабудет, что давеча наболтал-набалабонил. Проводили приезжих, бабы прибрались, чистоту навели, мы вино допили, чтобы не пропадало зазря, не покупное, поди. А Гайозу развезло люто, голову на стол положил — шея уже не держит, а свое твердит: все, дескать, чем богат, на корню продам, дома отчего не пожалею, а памятник покойнице такой поставлю, что не видано и не слышано. Что тут скажешь? Ставь, говорим, ставь какой хочешь, только сначала домой иди, проспись, утро вечера муд-



ренее, вот утром-то и поставишь. Глянь, послушался, пошел, до утра, говорит, недолго ждать осталось. Мы с ним Мамуку снарядили, чтобы одного бедолагу не оставлять, не то жди беды. Сказывал потом Мамука, что Гайоза всю ночь, почитай, до петухов третьих, на постели просидел, из стороны в сторону раскачивался, головой о стенку стучался, хорошо еще, что стена та деревянная, не то несдобровать бы ему, сердечному. Под самое утро только обессилел Гайоза, упал лицом на подушку да и забылся, уснул, что мертвец какой. Мамука и тогда от него не отошел, до полудня сторожил, как бы он не натворил чего с собой в помрачении. Так и сидел да дожидался, когда Гайоза проспится-оклемается. Все мужики деревенские поплудни возле дома Гайозова собрались, всем не терпится послушать, что Гайоза, очухавшись, скажет, куда дело повернет, враль-то он враль, да кто его знает, всяко бывает. А Гайоза только ото сна отошел, только глаза кулаками протер, тут же все и повторил, что вчера спяну болтал, все, дескать, продам, последнего лишусь, дома отчего не пожалею, а памятник такой отгрохаю, что не видано и не слыхано. Вот тебе и проспался. Что с него возьмешь, сбрендил, видать, с горя, не иначе. Как с ним быть-то? Тут мы и всполошились не на шутку. Да и как было не всполошиться: в доме у Гайозы одна вошь на аркане, в карманах дыра на дыре, грош не удержится, на какие же шиши он памятник ставить разбежался, да и зачем, спрашивается, на нашем погосте деревенском памятники ставить невиданные, оградку там еще куда ни шло да камень могильный тесаный, чтоб по-людски, по обычаю дедовскому, как у всех, а он памятник... Да, да, памятник и все тут, уперся Гайоза, я вам не замухрышка какой-нибудь, чтобы жаться да деньги паршивые по кубышкам пихать, все на кон, и без того жизнь моя кончена, так пусть хоть памятник будет. Не тот мы народ, чтобы жаться да кубышки заводить, не до кубышек нам, вроде, да и где их взять-то, деньги те паршивые. Ну мы его отговаривать, ну мы его советить, все впустую, продам, бубнит, все, дом продам, не жить мне в нем, все едино вдовому да сирому. Втемяшилась ему блажь эта, колом не вышибешь. Коли так уж тебе памятник этот ставить приспичило, го-

ворим, соберем денег, отдашь, когда сможешь, только не трожь ты дома отчего, не твоими руками он слажен, не твоим потом скреплен, локти потом кусать станешь, да поздно будет, что ушло — не вернуть уже. Он все нет да нет, не желает у деревни одолжаться и все тут, долг, говорит, платежом красен, а когда я еще деньгами такими разживусь, да с вами век не расплатишься. Да я, говорит, не то что век, дня тут жить не стану, памятник поставлю да и уйду тут же куда глаза глядят, только меня и видели. Вишь, как он повернул все, что тут скажешь, делать нечего, отступились мы, махнули рукой, пусть себе решает, как бог на душу положит, дурака умным не сделаешь, все дураком останется, туда ему и дорога. А сердце болит, беда да еще какая, но тут отступаться надо. Порешили так и ушли, авось, надеемся, сам еще передумает, известное дело, чем больше на мужика давишь, тем упрямей он становится. Подождем, нам терпения не занимать, и не таких еще перемалывали. А может, врет он все, а мы уши, как всегда, и поразвесили, на веру все приняли...

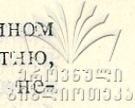
Да не так оно вышло, как гадалось, крепким орешком Гайоза оказался, с утра в город уехал, ничего больше не сказал. Нет его день, нет два, нет три, мы места себе не находим, а что как натворил он с собой чего, не надо было человека оставлять в помрачении. Глянь, заявился на четвертый день живой с мужиком каким-то сизоносым и снова пропал на день цельный. Мальчишки наши потом сказывали, что на погосте Гайозу с сизоносым видели: Гайоза, дескать, бегал вокруг могилы покойницы, кричал что-то да руками размахивал, а сизоносый головой все кивал, рулеткой землю мерил да на бумагу записывал. Наутро Гайоза сизоносого в автобус посадил, а сам к столовке нашей деревенской, на площади что, притопал. Тут у нас в выходной все мужики головастые да дельные собираются. Пришел и тут же бухнул, что в колокол ударил, так, мол, и так, пособите мне дом продать, недорого возьму — всего навсего двенадцать тыщ. Ух ты, цельных двенадцать тыщ, ничего себе — недорого. Хотя, по совести говоря, не дюже то и много для дома Гайозова. Хорош дом, трех не признать, все дерево в нем дуб мореный да кизил выдержанный, а кладка из валуна речного — за-



гляденье, добрый дом, для детей да внуков Гайозов отец его поставил, не для чужих, все руками своими сделал, только и жить в нем, детей плодить да жизнью радоваться, а тут... И черепицы запасной на чердаке ухоженном вдоволь — век хватит, а ограда, ограда какова — узором крестовым выложена и впрямь правнуков перестоит, не обвалится. А он — двенадцать тыщ. Оно-то все так, да двенадцать тыщ — деньги все ж небольшие, и кому в деревне нашей вот так сразу их выложить под силу, ума не приложим. Меньше мне никак нельзя, говорит Гайоза, столько памятник мне и станет, так мастер сказывал, да и то в обрез будет. Судили мы да рядили, всех, поди, перебрали, кто покупку такую потянуть сможет, да ни на ком и не остановились, нет, говорим ему, купца на дом твой в деревне нашей. Не обессудьте тогда, отвечает Гайоза, коли я охотника до него на стороне отыщу, да его с руками отхватят и еще спасибо скажут. Воистину так оно, не врет он тут, сами знаем. Но каково, спрошу я вас, слышать такое, нож в сердце да и только, чужака нам в деревне не хватало. Не пустим, говорим, чужака в деревню нашу, так ты и знай, залетные да пришлые во век нам тут не надобны. Как знаете, отвечает Гайоза, мое дело предупредить, чтобы обид напрасных не было, нет на то вашей власти, чтоб дом мой кровный продать не пущать, закону такого нету. Известное дело, нет такого закону, да куда нам деваться-то? А Гайоза кепку нахлобучил, да и ушел.

Вот тебе и пустомеля, вот тебе и требуха, кремь кремем, да и только, и ведь продаст, чумной эдакий. Сидим, думаем, что тут сделать можно, ничего в голову не приходит. Вдруг Роина-счетовод слово только одно сказал: «Мито», и все разом вздохнули вольготно. Конечно же Мито, сосед Гайозов, сыновей у него трое, все семейные, детей полон дом, а расстраиваться дальше некуда, да и землицы свободной в деревне у нас не ахти как густо. Хорошо Роина придумал, дело сказал. Послали человека к Мито. Пришел Мито с сыном своим старшим — Лексо. Мы им все и выложили как есть, так, мол, и так, соберите, где можете, двенадцать тыщ, иначе несладко вам придется, пришлый под носом поделится, хозяйничать станет, пеняйте потом на себя. Мито аж лицом слинял, руками развел, где, я, дескать,

деньги такие возьму, после деда да отца ничего у меня, кроме долгов, не осталось, вы все это не хуже меня знаете, несогласный я и все тут. Как мы за него принялись, ну ругать, ну честить, за горло, прямо, беднягу взяли, растяпа, говорим, добро тебе само в руки дается, а ты еще и артачиться вздумал, порастряси сундук, поскреби хорошенько, неси, что соберешь, а нехватку мы тебе восполним, деревня-то на что, все до единого скинемся по случаю такому, ты не отдашь долга—сыновья у тебя молодые да здоровые, львам под стать, заработают и отдадут помаленьку, не к спеху ведь, свои все вроде. Видим, заколебался Мито, уломали все ж таки. Почесал в затылке, прикинул, видать, в уме, что к чему, по душе, верно, пришлось все, а виду не кажет. Не торопите вы меня, бога ради, говорит, дело-то не шутейное, с сыновьями обговорить—обмозговать надобно. Хитрит, известное дело, себе на уме мужик, это чтобы мы, значит, упрашивать стали, авось, еще чего выгадать удастся. Да и мы с усами, и нас на мякине не проведешь, смотри, отвечаем, нет так нет, мы сами у Гайозы дом откупим, а там поглядим, что с ним делать. Уходить Мито собрался, а Лексо ему что-то на ухо зудит, за рукав отца дергает, проняло, видать, молодого, не до хитростей, боится, как бы мы и вправду слово назад не взяли. Да упрям Мито, осел старый, коли сболтнул что, до последнего держится. Ушел-таки. Мы малость приуныли даже, чем черт не шутит, думаем, а что, он откажется, как быть тогда? Да нет, глянь, и получаса еще не прошло, бежит со свертком тряпичным под мышкой, запыхался, до десяти тыщ, говорит, двух тыщ не хватило, все что в доме нашлось, копилки детские и то побили, без единого гроша остались, может, Гайоза и скостит две тыщи, не в аптеке ведь, вы только его жалуете, а я-то что, чужой вам, что ли. Тебя, говорим, жалеть нечего, все при тебе, а деньги дело наживное, заработаешь, небось. И торговаться брось, не к лицу это тебе, на смарку дело слаженное пустишь, дому Гайозову цена красная раза в два больше, не дурак вроде, не хуже нас знаешь. И без того Гайоза по-божески берет, нужда у человека, не до выгоды ему теперь, не то... А нехватку, как сказано, всем миром покроем, значит. Допер Мито, что дальше тянуть — только себе вредить,



и сдался. Тут Роина, счетовод наш, бумагу чин-чином составил, кто сколько в котел общий внес: кто сотню, кто шестьдесят, кто больше, кто меньше, добрали хватку и даже сверх того, авось, расходы еще какие выскочат. Мито, было, и тут крохоборничать вздумал, да мы его мигом на место поставили. Призвали Гайозу, а его, глянь, дрожь бьет, то ли с горя, то ли с нетерпения великого. Что еще у вас, спрашивает, да все по-твоему, отвечаем, вот тебе деньги, а вот мы. У Гайозы глаза на лоб полезли, когда Роина, послунявив палец, деньги пересчитал да по кучкам разложил, по тыще в каждой. Как тут прослезится вдруг Гайоза наш — кулаком глаза вытирает, да и есть от чего поплакать, каково, скажите на милость, отцов дом за кучки эти отдавать, верно, екнуло что-то в сердце Гайозовом, может, и пожалел уже о горячности своей да отступать не желает, совестно, вроде, столько народу за нос водить, и без того в глаза и за глаза его вралем да требухой величают.

А Мито побагровел вдруг лицом да тихо так сказал Гайозе: коли передумал ты, возвращаю тебе слово перед всем народом честным, словно и ничего говорено не было, я с деньгами своими остаюсь, а ты с домом своим отчим. Гайоза оглядел нас волком затравленным, руку Мито пожал, потом махнул в сердцах рукой, сгреб все денежные кучки в одну да кепкой накрыл. Муторно нам сделалось на душе, будто повинны в чем, на друг дружку да на Гайозу не глядим, глаза в сторону отводим, нескладно вышло, что и говорить, а кого тут винить — неведомо. А Гайоза кепку руками обхватил, сжал крепко, поднял ее вместе с деньгами и перевернул. Бумажек несколько красненьких на землю упало, подбирать их все бросились, лбами сшиблись — полегче вроде стало. А Гайоза-то, Гайоза наш злосчастный с кепкой стоит, денег доверху полной, и руки у него подрагивают. Бумажки те, с земли подобранные, мы в кепку ему доложили и отошли в сторонку. Нехорошо, ох, нехорошо... И пошел тогда Гайоза, набок кренясь, что колесо арбное с оси соскочившее, а кепку в руке вытянутой держит, словно слепой какой нищий, милостыню собирающий...

Утром Гайоза в город собрался, а перед отъездом к Мито наведался. Мялся, топтался на месте, носом

шмыгал, да и проямлил наконец едва слышно, коли дозволишь, дескать, я в комнате одной проживу в доме твоём до поры, пока памятник не поставлю, мне его быстро сделать обещали, если денег привезу, а остальным пользуйся на здоровье, я тебе не помешаю, ночевать только и буду. И голову понурил, сердечный, Мито в глаза не глядит. А Мито, даром, что ли, он наш, мартвисский, и говорит ему на это, всю жизнь, мол, я в доме своём прожил, в тесноте, правда, да не в обиде и сыновья у меня небалованные, проживем ещё, сколько тебе понадобится, живи себе — не тужи, пока не управишься вконец. Кивнул ему Гайоза кепкой своей помятой, да и пошел к автобусу, пакет бу-мажный, с деньгами, верно, под мышкой несет, с трудом ноги от земли отрывает, словно весь дом свой, на спину взвалив, тащит...

Два дня отсутствовал Гайоза, на третий, глядим, возвратился, тот, вроде, да не тот, сам не свой, молчун-молчуном, слова из него не вытянешь, ни в чей дом даже на веревке не затянешь, чуть свет на работу идет — плотником он на птицеферме работал — задними дворами, проулками пробирается, чтобы ни с кем, видать, не сталкиваться, да и с работы никуда не завернет, напрямик домой — все вечера один коротает, носа наружу не кажет, никого к себе на порог не пускает. Плотник он был так себе, не чета Лексо — отцу своему покойному. Тот был мастер хоть куда, на все руки: столяр-краснодеревщик, резчик, а в плотницком деле не было ему равных по всей округе нашей, любо-дорого смотреть было, когда работал, все, почитай, тайны дедовские одному ему и были ведомы — как дерево сушить-выдерживать, распиливать как, да на что какую древесину пустить. Как вернулся с войны — цены ему не было, нарасхват шел, откуда только к нему заказчики не наезжали, а он отказывал всем — и без того в деревне нашей дела у него хоть отбавляй, любил он Мартвиса, все, что есть тут у нас путного, ко всему руку свою благословенную приложил. Долго бился Лексо с Гайозой, и так и эдак пытался его к ремеслу своему приспособить, секреты передать, да толку чуть. Видать, к другому душа Гайозова лежала, вот и мастер из него вышел никудышный, через пень колоду, как говорится. Руками работает

вроде бы справно, а душа его в другом месте крутится, на деревенской площади языком мелет, народ потешает. А одними руками без души, известное дело, немного наработаешь.

Но тут, глянь-ка, за три месяца, что он сиднем дома отсиживался да на людях не показывался, руки его отцовскую сноровку выказали: весь дом, не свой уже, Гайоза для Мито так отделал — засмотришься, красоту навел — сердце радуется. Такие дела...

Так вот и минуло, как сказано, цельных три месяца. Позабыли мы все Гайозу, и дело его, с глаз, как говорится, долой — из сердца вон, а тут памятник тот и привезли аж на двух машинах, а за ними еще и третья — с краном подъемным. Прошли, прогрохотали по проселку деревенскому и напрямик к погосту. А тут их уже Гайоза с сизоносый тем дожидаются. Вся, почитай, деревня наша на погост сошлась-сбежалась — поглазеть на диво-дивное да подсобить, коли в том нужда объявится. Кран тот дрожит, тужится, камни гладкие, канатом стальным перехваченные, на землю сгружает, а камни-то, а камни все черные, полированные, на солнце смолой сосновой блестят-лоснятся, зеркало чистое, да и только, поглядишься в них — всего себя живым и выглянешь. Сизоносый с двумя помощниками камни те на катках деревянных катят, раствором чистым цементным скрепляют, а пригнаны-то, а пригнаны они друг к дружке — шва не видать, рукой проведешь — гладко: ни выступа тебе, ни шероховатинки, дерево и то так не отделаешь, а то — камень... Так вот и клали камень на камень, так и пригоняли камень к камню — стена вышла сплошная, высоченная да длинная, по краям крыльями скошенная, а с боков — вазы каменные с узором серым резным стоят, такого даже в городе вовек не увидишь. Дальше — больше. Плитами белыми метровыми землю под стеной выложили, а плиты те в прожилках черных, одна к одной — ходить по ним боязно, а что оскользнешься, лед и только. А вышло, и это еще не все. Вплотную к стене постамент поставили со стержнем вверху дюймовым. Тут же сизоносый с дружками своими со второй машины большущее что-то стаскивают, в рогожу обернутое. Да еще четверых из наших на рогожу кликнули. Стащили, на землю уложили, сто-

рожко так, не повредить чтоб, видать, ломкое что в рогожу ту завернуто. Мы в сторонке стоим, гадаем, что же это такое быть могло. А сизоносый тем временем веревки развязывает, рогожу разворачивает. Тут мы и все ахнули: лежит на земле баба розовая, что вишневый цвет, а гладкая, а ладная — глаз не оторвешь! Кто бы это мог быть-то, засомневались мы, может та, про которую Гайоза сказывал, что умыкнуть из города хотел, али кто другая. Да то ж покойница наша, благоверная Гайозова, смекнул Мито, ей-богу она, я по халату ее признал, день-деньской она в халате том хаживала, правда, тот коричневый был в цветочках, но похож, да еще как похож. Да и впрямь вроде похож... Тут и Гайоза поддакнул, что она самая это, супруга его усопшая. Все разом нахваливать бабу ту стали, похожа, мол, как уж не похожа, только вот без косынки она, с того и не признали поначалу, и нос ее, и подбородок, волосы — и те тютелька в тютельку. Только отчего это у нее руки правой нету от локтя, не поймешь, сломали, видать, пока с машины стаскивали. И ну ее — руку, значит, — искать, верно, закатилась куда. Кто под машиной ищет, кто в траве, а кто у соседней могилы. А сизоносый тут и говорит, зря, мол, ищете, не было ее вовсе. Как это не было, удивились мы, да и Гайоза на сизоносого обалдело глядит. Мрамору не хватило, оправдывается сизоносый, одна глыба у меня только и была на весь город, мрамор-то розовый, шведский, достал по случаю, его нигде даже с огнем не сыскать, не в Швецию же за ним ехать, это дело непростое. Оно-то так, согласились мы, Швеция далеко, добраться туда—дело нешуточное, да как тут быть, не стоять же ей с одной рукой, нехорошо вроде, еще сочтут, что у покойницы нашей и вовсе руки не было, не каждый ведь ее, покойницу нашу-то, живой знавал. Без руки я и сам ее не оставлю, только вот цвет у ней другой будет — черный, говорит побледневший сизоносый, а цветок в руке — белый, да это — ничего, все едино, красиво очень, даже красивше розовой, ей-богу. Ну красивей — не красивей, как знать, родная бы та лучше была, да куда денешься, на нет и суда нет, все лучше, нежели без руки. Взгромождили с грехом пополам бабу ту розовую на постамент, стержень дюймовый прямехонько

в дыру, что внизу памятника, попал, крепко стоит, ра-
створом схваченный. Назад отошли — ох и хороша!
Да и похожа вроде больше, нежели на земле была,
а стена, а стена так и лоснится, так и сверкает под
лучами солнца, за гору садящегося. Только вот бе-
да — обрубок руки правой все портит, да ненадолго
ведь, до затрева недолго ждать осталось, поправится
дело, тогда и поглядим, на что Гайоза дом свой отчий
променял. Сизоносого Мито на вечер к себе зазвал
вместе с Гайозой и помощниками его, саперави от-
ведать, покойницу помянуть, выходит, сизоносый вроде
как оживил ее, горемычную, оно-то и камень, а все
похожа, стоит, что живая, аж мурашки по спине. Охоч
до вина сизоносый оказался, крепко, видать, зашибает,
с того и нос у него весь в прожилках багровых, а так
невредный человек, да и мастер, по всему, добрый. С
малолетства, почитай, с камнем дело имею, говорит,
да вот такой заказ **впервой получил, с того** и расстал-
ся с мрамором шведским розовым, он у меня, говорит,
девятый год пошел, как лежит, жалко расставаться,
привык к нему, точно к человеку родному, уломал ме-
ня Гайоза, настырный такой мужик, хоть прячься,
хоть беги от него, правда, и дело благое, не каждый
день такое встречаешь, чтобы так муж жену любил-
то. И потом я доверие уважаю, все деньги Гайоза мне
вперед дал, это в наше-то время, вот и я его уважил.
А что до руки, тут вы будьте покойны, сделаю в луч-
шем виде, ни сучка, ни задоринки. Просидели мы да-
леко за полночь, про жизнь поговорили, а Гайоза
словно воды в рот набрал, не охмелел даже, не чета
временам прежним, пили-то на равных. Видать, смут-
но у человека на сердце, вся жизнь, почитай, вкривь
и вкось пошла, ни жены у него, ни дома, один памят-
ник и остался, а камень, вестимо, душу не греет, вот
и сидит без кровинки в лице. Сизоносый первым под-
нялся, мол, завтра мне работать надо, дело кончать.
Опрокинул напоследок чашу глиняную и к Гайозе от-
правился... Весь воскресный день на погосте про-
работал, а еще с вечера он попросил, чтоб никто, да-
же Гайоза, туда не приходил, под ногами не путался,
от дела не отвлекал, сам, дескать, позову, только за-
кончу. Народ у нас понятливый, к труду уважение име-
ет, ни единая живая душа за версту к погосту не по-

дошла, хоть и до смерти узнать охота была, как там да что. Под самый вечер только помощник сизоносого на площадь нашу деревенскую пришел, все готово, говорит, можете посмотреть. Почитай, вся деревня к погосту потянулась, как в день тот злосчастный, похоронный. Гайоза ни жив, ни мертв, еле ноги переставляет, по сторонам озирается, словно щель какую ищет, куда бы нырнуть, запрятаться ото всех. А над погостом нашим мартвисским, глянь, бурка черная, огромная, крылья черные вразлет распахнула, будто укрывая от холодных ветров гомборских бабу одинокую розовую в халате негреющем с цветком белым-белым в руке черной...

А чуть свет Гайоза наш с котомкой за спиной на проселок вышел и дверь за собой не закрыл. Попрошались мы с ним ввечеру еще, в дорогу дальнюю неведомую благословили, горемычного, как сказал—попросил, так все и сделали — не провожал его никто, только Мито со связкой ключей в руке стоял на крыльце дома Гайозова и смотрел из-под ладони своей корявой вслед уходящему. Не обернулся Гайоза, шел и шел, на бок кренясь, вот-вот упадет. В автобус потом, в город идущий, сел, да и был таков...

Скукота жизнь нашу мартвисскую вконец заела без вранья да похвальбы Гайозовой. И без того народ наш не дюже разговорчив, а тут и вовсе замолчал — приуныл, значит, только вот разве что по воскресеньям душой отходит. На погост люд деревенский валом валит от мала до велика, всем, небось, охота на красоту нашу новую мартвисскую подивиться: бабы слезы горючие льют, свечи теплят, вздыхают горько, мужики хлеб преломляют, вином окропляют, покойницу словом добрым поминают, дети тряпицами пыль с камней обтирают, грязь счищают, цветы на постамент кладут, деревья, вокруг памятника высаженные, водой поливают. В сумерки стена на ворона громадного смахивает, что крыльями бьет над бабой розовой, кружит над ней, кружит, а та стоит себе, как ни в чем не бывало, в халате своем каменном, от ворона не отмахивается, не тужит и не радуется, цветок белый невянувший в руке чернящей держит...

Да что там мартвисцы, люди к нам изо всех, поди, окрестных сел приходиться повадились, стекаются со всех

сторон на погост наш мартвисский. Сойдутся, поахают, слезу уронят, обойдут памятник кругом, цветами его украсят, на траву да на скамейку усядутся, чтоб на красоту эту невиданную полюбоваться. И хлопотно нам, вроде, как-никак, народу пришлого пропасть, ни конца ему, ни краю, того и гляди—затопчут все ногами, а в душе приятно, всем мы, мартвисцы, носы утерли, пусть знают наших.. А байки-то, байки какие чудные про Гайозу да покойницу-жену его сказывают — уши вянут их слушать, слезами, ей-богу, в пору обливаться день-деньской, особливо бабы тут стараются, охрипли, про любовь Гайозову голубиную да про нрав ангельский супружницы его покойной толкуючи. Серчали мы поначалу не на шутку, народ наш вранья не жалует, от Гайозы только и терпел, а, вишь, и притерпелись, рукой на все махнули, да и сами похлеще того небылицы заливать стали. Оно-то, известно, как бывает—раз совершь—ничего, второй повторишь — сам на веру примешь, а в третий и вовсе за правду-матку сочтешь. Так и повелось, так и закрутилось, словно лавина вешняя со склонов Иално. А слухами, вестимо, земля полнится. Вишь, и до города докатилась слава про памятник наш мартвисский, да про любовь Гайозову, небывалую. И такое тут пошло-поехало — в воскресный день с базара домой не добратся, в автобусе битком, не протолкнуться, а влезешь — и сам не рад, не продохнуть, иголке негде упасть, так и стоишь на одной ноге от города и до самого Мартвиси, корзины пустые хоть на головы людям ставь. А машин-то, машин, скажу я вам, в глазах рябит — охрипли мартвисцы, как к погосту проехать, рассказывая, с того, видать, и песни петь перестали, рук едва не лишились — того и гляди отвалятся, впору работу бросать — дорогу к памятнику нашему показывая. А машины все идут и идут, житья от них не стало, бензином весь наш воздух чистый, ядерный насквозь пропах, спичку поднесешь — взорвется, ей-богу, взорвется. А цветов, цветов везут, без счету, да каких цветов — одни гвоздики с кулак величиной, те, что на базаре за трешник, почитай, идут, так их земоканцы-кровососы продают. Вот и везут гвоздики эти самые, да всю площадку перед памятником ими заваливают. Оно-то ничего, пока цветы свежие да пригожие, а как завянут — беда с ними нашим бабам, выметать не успевают, все ве-

ники вчистую перевели, напасть какая-то, да и только. Что и говорить, велика честь, а забот новых хоть отобавляй — то одно, то другое вылезает. Каково, хотя бы огарки свечей с постамента соскребать, оно-то вроде и нетрудно, дело нехитрое, да вдруг камни покарябашешь? Ну а что, коли памятник наш розовый свечами теми закоптят? Каждому, небось, поперек дороги не встанешь, каждому не втолкуешь, совестно как-то, люди ведь от жалости сердечной к нам слетаются, душу тешат, а ты их хвать обухом по башке...

А о Гайозе нашем ни слуху, ни духу, как в воду канул, сгинул, видать, от тоски великой, бездомный да сирый. Языкам досужим и тут просторно, чего только не городят: одни говорят, что Гайозу в рубище ветхом в поездах видели, побирается, мол, бедняга, горек хлеб нищенский; другие — что в монастырь какой-то в горах, богом самим забытый, послушником подался, грехи замаливать; а третьи, те до того даже договорились, что Гайоза, дескать, и вовсе не уезжал никуда, в лесу здешнем в землянке живет, а по ночам на погост приходит, зверем воет, жену свою любимую с того свету призывает, руку ее чернющую слезами горячими обливает... Нам, мартвисцам, бредни эти, что нож острый в сердце, это ж надо до такого додуматься, что Гайоза наш с рукой протянутой побирается, зверем воет да лоб в молитвах расшибает. Да чтобы мартвисец, пусть даже зряшный самый, на такое пошел — ни в жисть не бывать такому, враки все это. Да что тут поделаешь — на чужой роток, как ни старайся, не накинешь платок...

Так и прошли четыре зимы да четыре лета. Мито, тот виноградник на Гайозовой землеце заложил, успел уже урожай саперави первый снять, четыре квеври вином добрым наполнил, с долгами за дом гайозов с деревней сполна расквитался да еще и молодого вина на всех выставил. Вино то деревня вся перво-наперво за упокой души страдальицы нашей мартвисской возле памятника выпила и землю вокруг него окропила за память вечную, пусть, мол, светло бедняжке будет на том свете, хотя, верно, ей и без того светло, вишь сколько свечей люди возжигают. Второй тост, как водится, за Гайозу нашего подняли, коли жив, болезный, пусть покой снизойдет на душу его тоскующую, а коли нет, да будет ему легка земля неродная, тяжелая.

А к памятнику нашему мы дорогу кружную в обход деревни проложили, чтоб народ пришлый зря деревню не топтал да бензином не травил, булыжниками речными дорогу ту выложили — не месить же грязь, в самом деле, машинам да пешим, к погосту идучи, себе ведь хуже, глядишь, памятник заляпают, не отмоешь потом... На погосте нашем древнем оградки старые на могилах подправили, а где не было их вовсе — новые поставили, в черный цвет выкрасили, чтоб памятнику нашему подстать и чистоту — чистоту-то навели, душа радуется, не срамиться же, небось, перед народом пришлым. Да и деревню нашу не обошли, где заборы подновили, где мусор поубирали, а где дороги выровняли, колдобины заделали — негоже вроде, чтобы памятник наш мартвисский славили, а Мартвисы на весь свет ославили, на виду ведь. Вот и давеча автобус огромный красный, битком набитый, к памятнику нашему подкатил. Смотрим, выходят из него мужики да бабы точь в точь на нас, мартвисцев, похожие, только разве что одетые чудно, не по-нашенски. А мы им, откуда вы, мол, такие взялись. А они глазами хлопают, улыбаются виновато так и руками разводят, не разумеют вроде по-грузински-то. Одна только девка ихняя и поняла. Да нет, говорит, зря, мол, стараетесь, не грузины то вовсе, а испанцы настоящие, а что на нас похожи, так это оттого все, что они как бы сродственники нам дальние. Хороши сродственнички, ничего не скажешь, коли язык родной, грузинский, вчистую позабыли, да пусть их, бог им судья. Ох и понравился же памятник наш сродственничкам, ох и понравился, особенно рука та черная с цветком белым, так и ходят вокруг, так и ходят, языками цокают, чуть ли не крича на все лады, намыливают, все «сюр» да «сюр» твердят, верно, по-ихнему «хорошо» это значит. А девица та все любопытствует, все, знай, выпрашивает нас, что это за памятник, да откуда тут взялся. Вот мы ей все про него и рассказали, не скрывать же, стыдиться нам, вроде, нечего. Пересказала она все родичам нашим безъязыким на ихнем языке. А бабы, те как прослезятся, как заахают, ну совсем что наши, мартвисские, а мужики давай нам руки жать, да по плечу хлопать, верно, и впрямь они сродственники нам, хоть и язык позабыли дедовский, иначе с чего бы, спрошу я вас, проняло их так крепко. Тут мы им еще сапе-

рави наше поднесли, выпили и зажмурились от удовольствия великого, понимают, видать, толк в вине настоящем. Распрощались с нами, что с дружками старинными, бабы и ихние, и нашенские глаза платками вытирают. И укатили они в автобусе своем красном, руками машучи, а мы призадумались не на шутку. Да и было от чего, теперь, поди, весь белый свет про памятник наш прознает, повалят к нам чужеземцы со всех краев, только держись...

Сидим раз на площади деревенской, молчим, да все об одном думаем, как дальше-то быть. А тут, глянь, «Жигуль» желтый, что цыпленок, только-только на свет народившийся, прямо перед носом нашим останавливается. Ну, думаем, известное дело, заплутал человек, к памятнику нашему едучи, проскочил мимо дороги обходной к погосту, не впервой уже, надо бы указатель там какой-нибудь поставить, что ли, не то горло опять надрывай, рассказывай да показывай. И скажу я вам, никакого вроде подвоха не ждали мы, да и с чего это, спрашивается, ждать его было, заплутал, так заплутал. А тут, на тебе, что гром среди неба ясного, открывается дверь и выходит из машины, кто бы вы думали, да он же, он, враль наш. Гайоза, ей богу, Гайоза. Впрочем, это я сейчас говорю — Гайоза, а поначалу никто его не признал, да и как признаешь, коли ничегошеньки, почитай, в нем от Гайозы нашего, того, значит, прежнего, и не осталось. Так вот, выходит из машины мужик гладкий такой, в кожанке черной, в очках черных кожанке под стать да в шляпе чернушей, на очки те сдвинутой, видный мужик, ничего не скажешь. «Все на завалинке посиживаете, мужики, мхом обрастаете, что на свете белом делается, не ведаете!» — говорит кожанка та да губы растягивает, улыбается вроде, два зуба золотых выставляет. Все человек сменить может — и рожу, и кожу, а голос все едино при нем останется. Слушаем, Гайозов, вроде, голос, один к одному Гайозов, сколько лет, считай, пролетело, а он у нас и по сей день из ушей не выветрился, да и как выветриться-то. Гайоза он, ей-богу, Гайоза. Что тут началось, скажу я вам, столпотворение да и только, мужики все с лавок повскакивали, взяли Гайозу в кольцо, кто по плечу его хлопает, кто обнимает, кто про то спрашивает, кто про это, затормошили, задержали человека вконец. И рады мы

ему, вроде, да и как не радоваться, наш он, как-никак, мартвисский, да на душе кошки чего-то скребут, словно недоброе что чувствуют. Мито Гайозу к себе тянет, пойдем, мол, саперави отведаешь из того виноградника, что я на земле твоей заложил. Недобро как-то, косо да с оскалом глянул Гайоза на Мито нашего. Не по сердцу нам пришелся взгляд этот волчий, с чего бы он так на Мито глядел, ни долга, ни вины у него перед Гайозой не водится, а что он дом его отчий купил да виноградник выходил, так мы деревней всей по-людски оговорили, кажись, да сладили тогда — чист Мито и перед Гайозой, и перед миром. А Гайоза в машину сел. Да оставь ты ее тут, ходить-то два шага всего, не устанешь, поди, говорим мы ему. Нет, отвечает, все надежней, чтоб она при мне была, от греха подальше. Ну, как знаешь, говорим, а сами думаем, плохо, видать, ему пришлось, коли он даже в деревне родной чужаком держится, позабыл вроде, что отродясь у нас замков да запоров не водилось, пусть себе отойдет маленько, все вспомнит...

А Мито мотыгой крышку у кеври отбил по такому случаю, всю, почитай, деревню в гости зазвал. Славное саперави, что и говорить, густое, вязкое, черным-черное, душу веселит, языки развязывает, дружбы завязывает, все при нем, как и положено вину доброму, хорошим работающим человеком настоенному. Только вот, глядим, Гайоза мрачнее тучи за столом сидит, ни на кого не глядит. Ну, думаем, есть отчего мужику-то печалиться: жену схоронил, дома отчего лишился, по чужбине столько годков скитался. А мужики да бабы наши на Гайозу с лаской глядят, отрезанный ломоть, да свой, все ведь в деревню родную возвернулся, видать, нейдет она из сердца его, свое, оно свое и есть — дурное там или хорошее, вот и ладно, что возвернулся, честь ему да хвала за это... Да тут Гайоза такое загнул — уши б наши не слышали. Я, говорит, в горе тогда был, сам не свой, разумом помутился, а вы меня, дружки соломенные, вокруг пальца и обвели, что чурку-дурня последнего, нет, чтоб образумить, на путь наставить, да куда там, вымели, словно мусор какой, по ветру пустили, спасибо еще, люди добрые на стороне нашлись не чета вам, пропасть не дали, уму-разуму научили, глаза на все открыли, не то быть мне в земле сырой, сытью червивой. На край света я подался, деньгу заработать, и заработал

горбом своим да руками — все теперь имею. Да только дома отчего, что по злему умыслу вы у меня оттяпали, нет. Ну, ничего, вот порушу я памятник, бесовке проклятой поставленный, продам его до камешка последнего, а на деньги вырученные дом свой обратно откуплю, виноградник, вишь, заложили, вином наливаются, пьянчуги проклятые, отольется вам горе мое соленое, да так отольется, что прогоркнет саперави ваше хваленое, а с ним и жизнь ваша до доньшка самого. Обидно нам речи такие слышать, ох и обидно, хоть бы слово правды в них было — и то легче. Не тогда, видать, он с ума съехал, а теперь, злосчастный, требухой был, требухой и остался, все, вроде, сменил — и рожу, и кожу, да нутро свое, как оно и было, нетронутым оставил, вишь, мы во всем виноватые, а ведь как отговаривали, просили-то как, а все — что горох о стену... да что там!.. Слава о нем по всему белу свету летит, людям душу бережит, за человека они его почитают, грудь материнскую, что Гайозу вскормила, благословляют, а он... э-эх, пустоцвет чертов. Осерчали мы тут, да как осерчали, а все крепимся, в руках себя держим, не выпускаем, не пристало вроде умному под дурацкую свистульку плясать. А Гайозу хоть бы что, куражится пуще прежнего, грозитя почем зря, окоlesiцу несет — сил наших нет слышать такое. Терпели мы, терпели, да и вышло все терпение наше без остатку. И несдобровать бы Гайозу, да старики тут наши почтенные в дело вмешались. Не позорьтесь-де, люди добрые, не позволяйте имя Мартвисис честное на всех перепутьях-перекрестках трепать, негоже нам с плеча рубить, пушай каждый свое скажет, обмозгуем все честь-честью, а там и решим, как испокон веку у предков наших велось. Гайоза тот, видать, струхнул не на шутку, к «Жигулю» своему задом пятится, чтоб, значит, ноги унести подобру-поздорову. А мы совету мудрому вяляли, по новой терпения набрались, сидим за столом, о вине даже думать позабыли, не до вина, коли имя честное Мартвисис нашего на кон поставлено. Гайозу, поди, невдомек, что вокруг него да супруги его покойной накрутилось-навертелось, а узнает, авось, проймет человека, все ведь наш, мартвисиский. Тут поведали мы ему все как есть, ничего не утаили, да и как утаишь, коли про то каждому встречному-попечерному известно все. А напоследок мы ему еще и про

сродственников наших далеких, испанцев, добавили. Это видать, и добило вконец поганца. Как тут побледнеет Гайоза, сидит ни жив, ни мертв, воздух ртом разинутым хватает, проняло, верно, да еще как проняло, не дурной небось, с полсловечка усек, как далеко все зашло да заехало. Что же, говорит, мне теперь делать прикажете, ведь и я человек, да еще живой и нестарый пока, жену приведу, есть тут одна баба хорошая в Шиндиси, там дети пойдут, все как у людей, не могу же я, в самом деле, руки на себя наложить ради молвы досужей, дом мне отчий надобен, дайте мне откупить его обратно, а памятник, черт с ним, пусть стоит себе, коли он вам так уж позарез потребен. Дудки, отвечаем мы ему, нет тебе в деревню возврата, никто у тебя дома не отбирал, сам ты его, блажью маясь, в руки чужие отдал, да ты не дом тогда продал — отца с матерью, вечная им память, по миру пустил, а теперь, вишь, одумался, нет тебе ни веры, ни прощения, уйди от греха подальше. А про памятник тот и помышлять не моги, наш он и все тут, деньги, на него траченные, мы всем миром тебе возвернем, не сомневайся, как сказано, так и сделано, живи себе как бог на душу положит, хоть женись, хоть детей заводи, хоть что, не наше то дело, но к Мартвисе ближе как за десять верст не подходи, так и знай. Да вот еще что, смени-ка ты имя свое, не позорь отца с матерью да деревню нашу, все едино ничего в тебе от Гайозы прежнего не осталось, одна видимость, чужой ты нам и себе чужой, по ошибке великой на земле нашей благословенной мартвисской родился... Дошло, видать, до Гайозы, что с нами шутки плохи, не жить ему больше в Мартвисе, поартачился, поломался для виду, потрепыхался малость, а у самого глаза от жадности так и светятся, что у кошки мартовской. Нам что, нам денег не жаль, только вот за деревню нашу обидно, овцу паршивую на голову свою вырастила, благо хоть стадо она не испоганила... А мужики наши по домам не сговариваясь разошлись, денег раздобыть да принести, кто сколько может, как при поминках, чтоб грех наш покрыть, Мартвисе от недоброй молвы уберечь. А Гайоза со страху в «Жигуль» свой цыплячий нырнул, на все замки закрылся, сидит, что суслик в норе. Мальчишки да бабы машину ту в кольцо взяли — не разорвать, сторожат, как бы не натворил Гайоза чего по злобе сер-

дечной, с него станется, от такого всякого жди. Скоро да споро мужики ьозвернулись, принесли свои недаровые, кровные, кто сколько от семьи оторвать сумел, у каждого нужда своя, да на дело святое разве пожалеешь. Роина-счетовод пересчитал все бумажки, палец то и дело слюнявя — восьми сотен до двенадцати тыщ не хватает. Тут Мито с сыновьями своими переглянулся, на жену искоса посмотрел и опять в дом свой заторопился. А Гайоза все в «Жигуле» сидит, очками черными глаза бесстыжие прикрыл, да еще и шляпой для верности затенил, это чтоб народ жадность его не разглядел. Вот и Мито вернулся, запыхался, недостачу принес, Роине боком сунул, пусть, дескать, подавится, авось, не обеднею. Роина деньги сложил, в газету завернул, в руках вертит, не знает, что с ними делать-то. Да брось ты их ему, пусть отваливает, крикнул кто-то. А Гайоза окошко в машине опустил, руку не глядя протянул, ждет, значит. Вот Роина и сунул в эту самую руку в коже черной пакет с деньгами. А другой рукой Гайоза мотор включил. Рванулся «Жигуль» с места, что конь ретивый, плетью по бокам перетянутый, едва мальчишек да баб не сшиб. Посторонился народ, расступился, словно взашей поганца вытолкал, и... снова сомкнулся.





СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

●
Рассказ

СОЛНЕЧНЫЙ луч прыгнул на раму окна, побегал по ней вприпрыжку, взобрался на одну из перекладин железной решетки и сквозь косящую щелочку в ставнях заглянул в комнату. Затем перебежал через подоконник и белой пыльной тропинкой рассек нависшие в комнате сумерки.

Комната была просторной. За стеклянной без штор дверью, ведущей в прихожую, виднелись куртка, висящая на вбитом в дверь крючке, и вешалка с кокетливо вздернутыми плечиками.

На стене рядом с дверью висело огромное, чуть ли не до потолка зеркало в облезлой, местами потрескавшейся резной рамесзадранными верху посеребренными зубцами, похожими на рыбью чешую, а две отражающиеся в зеркале громоздкие кровати на гнутых резных ножках казались куда более необычными, чем были на самом деле.

На одной кровати поверх шелкового покрывала с вышитыми павлинами лежал аккуратнo сло-

женный тюфяк со своими неразлучными друзьями — пуховым одеялом в белоснежном накрахмаленном пододеяльнике, в четырехугольнике которого проглядывала сочная зелень пришитого к одеялу лоскута, и взгромоздившаяся поверх одеяла такая же ослепительно белая подушка.

Вторая кровать, отделенная от первой тумбочкой на высоких, похожих на ходули ножках, со старинным телефоном и ночником «грибок», была застлана простыней со смятыми, словно хмурившимися краями.

Поверх простыни лежало одеяло в ситцевом, линялом и залатанном пододеяльнике. Между одеялом и изрядно пожелтевшей бесформенной подушкой виднелся табачного цвета затылок с седеющими клоچьями волос.

Это был Зураб Иараджули. Он спал, уткнувшись лицом в одеяло, свесив волосатую руку, и шевелил во сне короткими, пухлыми пальцами с плоскими ногтями, желая, по всей видимости, отогнать от себя неприятные сновидения.

Солнечному лучу надоело торчать на одном месте, он резво подскочил к зеркалу, оценивающе оглядел себя, потряхивая пыльной каймой, затем прыгнул на затылок спящего и закружил на одном месте.

Зурабу, по-видимому, стало жарко.

Лучик встрепенулся, скатился на одеяло и затерялся в его складках.

Зураб потянулся и перевернулся на спину. На смятой подушке покоилась голова человека с гладко выбритым лицом, отвисшими ото сна губами и двумя рядами белоснежных зубов.

Зазвонил телефон. Иараджули протянул руку, но она бессильно рухнула обратно на кровать. Тогда он открыл глаза. Перед его ленивым взором проплывали тянущиеся из прерванного сна тени.

Телефон зазвонил еще раз. Теперь-то Зураб понял, что его разбудило. Он медленно и тяжело приподнялся, уперся локтем в подушку и дотянулся до телефона.

— Да...

— Зураб, это ты? — услышался чмокающий женский голос.

«Жвачку жует», — подумал Зураб и угрожающе произнес:



— Да!
— Зураб, если можно, поговори со мной, пожа-
луйста.

— Тебе чего надо?
— Знаешь, мне совершенно нечего делать...
— Знаю я, чего тебе надобно... — в его голосе
звучали жестокие нотки... — Придешь?

— Зачем же мне приходить? Я тебя очень прошу,
не говори мне ничего плохого... — умоляюще произ-
нес голос в трубке.

— Тогда будь здорова, — Зураб положил трубку,
высунул из-под одеяла ноги и, прикрыв глаза ладоня-
ми, что-то долго и мучительно вспоминал.

Телефон зазвонил еще раз.

— Да!

— Зураб!

— Знаешь что, душечка? У тебя ванна есть?

— Да... — насторожился голос в трубке.

— Так вот, наполни ее холодной водой и поплескай-
ся малость. Остынешь, — Зураб остался очень доволен
собой, многозначительно улыбаясь, послушал воцарив-
шуюся в трубке тишину и дал отбой.

Он снова лег и стал думать. Затем откинул одея-
ло, опустил на пол ноги, встал, почесал спину, оправ-
вил трусы, сунул ноги в тапочки и, насупившись, сде-
лал шаг.

Он включил телевизор и уселся на диван, заложив
обе руки за голову.

Телевизор осветился. По экрану метался какой-то
всклокоченный длинноносый клоун — подносил к носу
и нюхал воображаемый цветок, заливался смехом, виз-
жал, сам себе аплодировал, словом, изо всех сил ста-
рался казаться смешным. Иараджули почувствовал се-
бя обязанным клоуну и, чтобы не обидеть его, улыб-
нулся...

Затем Зураб пополоскал в ванной замоченную нака-
нуне рубашку, отжал ее и вышел на балкон. Вешая
рубашку на веревку, бросил взгляд на противополож-
ный балкон. Он не ошибся. Женщина и на этот раз
вышла и облокотилась на перила, обнажив пышную,

покоящуюся в глубоком вырезе сарафана грудь. Она томно зевнула, прикрыв лицо ладонями. Иараджули знал, что сквозь пальцы она наблюдает за ним!

Он еще раз отжал рукава, проверил, хорошо ли держатся прищепки, и еще раз посмотрел на женщину в сарафане. Она повернулась к нему по пояс оголенной, веснушчатой спиной и залилась громким, вызывающим смехом.

Зураб вернулся в комнату и, злорадно улыбаясь, спрятался за занавеской.

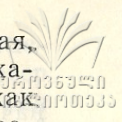
Женщина отвела руки за голову и обернулась. С ее зардевшегося лица вмиг слетела заученная улыбка, она окинула пустой балкон желчным взглядом, надменно вытянула шею и, пожав плечами, удалилась.

Иараджули, посмеиваясь, наблюдал еще некоторое время за балконом, потом хлопнул в ладоши, оттопырил нижнюю губу и так же, как та женщина, пожал плечами.

Зураб Иараджули был статным, широким в кости мужчиной высокого роста. В остатках его светло-каштановых волос сквозили серебристые ниточки. Густые, лохматые, высоко вскарабкавшиеся на лоб брови упрямо срастались на переносице. Серые недоверчивые глаза свидетельствовали о том, что их обладатель успел уже хлебнуть жизни и впредь решил быть осмотрительнее. И вправду, Зураб воспринимал действительность без красивых иллюзий и не надеялся на то, что она преподнесет ему какие бы то ни было сюрпризы. Прожитые годы наградили его своеобразным житейским дальтонизмом, и в его восприятии бесчисленное множество красок и оттенков навсегда заслонил цвет собственных глаз.

Иараджули был человеком ненасытной мысли. Даже обычная пыль, попавшаяся ему на глаза, навевала тысячу скорбных дум и привносила тысячи забот и волнений.

Вот и сейчас он растянулся на тахте, заложив обе руки под голову, и принялся распутывать клубок взетрошенных, суматошных мыслей, которые, как переполошившиеся наседки, всюю старались перекрычать друг друга.



Через некоторое время в восприятии Зураба серая, бесплодная равнина запестрела блестящими цветочками с белыми и лиловыми лепестками. Он старался как можно сильнее зажмуриться, но цветочки упрямо заползали и под объятые негой веки, расцветивая подступавшие сны.

Потом он привык к разноцветью красок, но стоило ему улучшить время и остаться наедине с собой, как он предавался мыслям о синем море и белых чайках.

В прихожей затрещал звонок, поперхнулся, заглох и затрещал еще громче.

Иараджули нахмурился. Множество его мыслей заглохла одна — кто бы это мог быть?

Он встал, сунул ноги в тапочки, застегнул по дороге верхнюю пуговицу на рубашке, бросил беглый взгляд в зеркало и открыл дверь.

Промелькнул женский силуэт, Иараджули ощутил на шее чьи-то жаркие руки, и на плечо его упала горячая слеза.

— Зура... Зура... Как ты изменился... Не узнал, да? — шептала ему в ухо женщина.

— Лили, это ты! Откуда? Какими судьбами? Сколько лет... — он радостно, не веря глазам своим, подхватил ее руки. — Как ты нашла меня? Ну чего ты ревешь, глупышка?

Потом они сидели на диване и смеялись — он над плачущей женщиной, а она над собой и над своими слезами, ручьями стекающими по подбородку.

— Ты, небось, голодна, — засуетился Иараджули, но она остановила его:

— Постой, дай поглядеть на тебя.

Но и сама не смогла усидеть на месте, попросила:

— Покажи мне свое жилье... Неплохо устроился, — сказала она, снова садясь на диван, и вытащила две конфеты из хрустальной вазы.

— Эту тебе, а эту мне, — сказала Лили и лукаво посмотрела на Зураба.

— Помнишь?.. — удивился он, и в его оттаявшем взгляде появились глубокие проталины.

«— Лили!.. — Мальчик перелез через изгородь»

Девочка в коротком платьице отворила дверь. По началу она высунула один только носик, подавая знак: «Иду». Следом за носиком появилась и сама, надув губки, осторожно прикрыла дверь, подпрыгнула на месте и сломя голову бросилась к мальчику.

— Эту тебе, Зура, а эту мне, — она вытащила из-за пазухи две растаявшие конфеты и протянула одну из них мальчику.

Потом развернула вторую, слизнула ее с бумажки и облизала пальчики».

— Слышала, ты далеко пошел... Я и не сомневалась. Студентов стращаешь! — Лили прыснула в кулачок.

— Как же, у них с перепугу сердца разрываются.

— Так и говорят, мол, Зураб Иараджули — это гроза студентов. Ха-ха-ха, Зура, ты — и гроза?! Ха-ха-ха! Недавно к сыну пришли товарищи. Я возилась на кухне и вдруг слышу: «К этому Иараджули не подступишься, особенно девчонок мучает, никакой от него жизни». И вдруг смолкли разом, это мой зашептал: «Да потише вы, Зураб Иараджули—друг детства моей мамы...»

— У тебя такой взрослый сын?

— Уже студент.

— А муж твой, я слышал...

— Да, мы разошлись...

— Ты все же должна быть счастлива, у тебя взрослый сын...

— Ох, Зура, Зура... — Лили махнула рукой. — Сын мне дороже всего на свете... Но если бы существования ребенка было достаточно для того, чтобы быть счастливой, все так бы и поступали — рожали даже без мужа. Незаконнорожденные ведь тоже дети. Моему мальчику уже девятнадцатый год, он вырос, возмужал. А я с каждым годом все острее чувствую одиночество.

— Сколько тебе сейчас, Лили?

— Неужели забыл? Я на месяц младше тебя.

— Значит — тридцать восемь.

— А ты почему не женишься?

— Как тебе сказать... — От некоего подобия улыбки, скользнувшей по лицу Зураба, уголок его рта по-

полз вверх, щека вздернулась и вокруг серого, погасшего глаза пролегли хворостинки морщин. Он потер подбородок, растянулся в кресле и добавил: — Бремя жизни придавило меня, я не раз оказывался игрушкой в руках судьбы. К тому же в моем возрасте трудно полюбить, равно как и поверить в чью-то любовь.

— Любить?.. Достаточно, чтобы она тебе нравилась. Все так и живут. Скажи еще, что не родилась на свет та женщина, что достойна твоего внимания!

— Напротив, их слишком много. Возникает проблема выбора. Когда человек любит, он живет как в тумане и ничего не видит. Только приглянется одна, как тысячи подобных чертенок хороводом закружат перед глазами. И все на одно лицо. Вот тут-то и начинается самое страшное. Поначалу одолевают сомнения. За сомнениями следует предусмотрительность, потом опускаются руки, потом...

— А потом так и останешься холостяком... — уточнила Лили и улыбнулась. — Гм, старый холостяк!

— Это точно, — в голосе Зураба зазвучала детская наивность. — К тому же из всех облюбованных мною женщин я обычно нравлюсь одной-двум, а потом и сам даю им отставку. Наверное, у них дурной вкус, думаю я, ведь иначе я бы им не понравился.

Лили насупилась и исподлобья посмотрела на него.

— Зура, хватит шутить... На любовь, видите ли, он не способен... Порой мы сами отмахиваемся от любви из-за собственного упрямства и настолько эгоистичны, что не решаемся посвятить кому бы то ни было свою любовь.

— Ну что мне делать, нет никому надобности в моем разрывающемся от любви сердце, — ухмыльнулся Зураб и встал. — У меня есть замечательный кофе, сейчас заварю.

Лили проводила взглядом с трудом протиснувшиеся в дверной проем плечи.

— Гм... Кофе у него есть!

«...Мальчишка со сбитыми коленками вытер нос ладонью и вывернул набитые конфетами карманы.

— На, Лили, возьми, у нас есть еще, еще много...»

— У меня есть... У нас есть, — машинально повторила она и удивилась. — Сколько времени прошло с тех пор, и как все изменилось...

Она подошла к зеркалу, повела плечами, поправила завиток на лбу, повертелась еще немного и вернулась в комнату.

Взяла с серванта пузатую хрустальную вазу, постучала по ней пальчиком, посмотрела на пыльный сервант и укоризненно покачала головой.

Из кухни доносились звон посуды и шипение газовой плиты. Потом все смолкло и в дверях вновь показались Зурабины атлетические плечи.

— Садись. Ты у нас не пьешь, так что... — он пододвинул ногой столик, расставил чашки и подул на покрасневшие пальцы.

— Ну, если ты надумал за девчонками волочиться... — сказала Лили.

Иараджули поднял голову и пристально посмотрел ей в глаза. Он успел уже забыть их недавний разговор, но тут же вспомнил, оглядел пузырьки кофейной пены, прибившиеся к краям чашки, и с лукавой улыбкой, словно желая раззадорить собеседницу, ответил:

— Это точно.

— Чтоб вам, мужикам, пусто было... Пусти козла в огород...

— Ну и вы хороши. Вам тоже молоденьких подавай, — Зураб отхлебнул кофе. — Странно, отчего это молодых так тянет к нам?

Сказал и... Над синим морем взвились белые чайки.

У Лили зарделись щеки и мочки ушей. Она поставила чашку на блюдце, ноготком соскребла нечто невидимое с ручки и произнесла, думая о чем-то своем:

— Наверное, оттого, что они пока еще не разучились любить... Но тебе уже не к лицу волочиться за девчонками...

— Почему же? Постарел? — Зураб улыбнулся одними губами.

Лили оглядела его тронутые сединой виски, изборожденный морщинами лоб, и у нее защемило сердце — «не замечает».

От Зураба не ускользнул ее взгляд, и он посмотрел

в зеркало. ...Море зашумело, заволновалось и поглотило в свои недра отчаянно кричащих чаек с перебитыми крыльями.

Лили вздрогнула. Она больше не могла смотреть в глаза Зурабу.

Они долго молчали. Зураб кашлянул и выпрямился в кресле. Лили закинула ногу на ногу, наклонилась вперед и заговорила:

— Их влечет не к нам, пойми, не к нам, а к прожитой нами жизни, к нашим делам, к нашим тайнам, глубоко схороненным в складках морщин. Время идет, мы стараемся спрятаться от старости, наряжаемся в пестрые платья, кривляемся у зеркала, сдуваем с галстука пылинки и не замечаем того, что лоб наш превратился в кладбище морщин... Напеваем модные песенки, танцуем современные танцы, несмотря на готовое вырваться из груди сердце, целуем зажмуренные от презрения глаза, крепко сжатые бесчувственные губы и... — она еще сильнее согнулась, — и не чувствуем того...

— Как жалки и смешны, — улыбнулся Иараджули, но улыбка его не смогла рассеять туман, и Лили так и не поняла, над чем он смеялся.

Иараджули лежал на кровати. Каждый из окружающих предметов рождал в нем множество мыслей. Он думал обо всем: о странном зеркале в облезлой раме, о крепких окнах, о припорошенной пылью тумбочке и о самой пыли.

Думал он и о своих немощных мыслях, витающих в поисках какой-либо лазейки по комнате, натыкающихся на стены и шарахающихся во все стороны.

Он погасил свет. Все исчезло. И стены, и вещи. И мысли сверкнули, как молнии, и тоже исчезли.

Исчез и Зураб Иараджули... Беспросветная мгла, стеной возвышающаяся у него перед глазами, казалось, брала начало из его же погруженного в темень тела и простиралась в бескрайнюю даль.

Где-то далеко-далеко, в непроглядном мраке, как кометы, проносились его мысли, оставляя за собой яркие хвосты.

...И сейчас, в этой крошечной тьме, Иараджули видел и распростершееся за своей спиной, перетянутое узелочками воспоминаний прошлое, и каждую деталь неведомого будущего, прячущегося от его непрошеного взгляда.

«...В коридоре заводской дирекции сидели две женщины. Одна, в повязанном по самые глаза черном траурном платке, бросила взгляд на Зураба, вся как-то съежилась, сморщилась и тихо заплакала.

Вторая, что помоложе, была горбата. Ее веером распущенные по плечам волосы в какой-то степени скрывали этот недостаток.

— Наверное, у нее умер сын, — указав на женщину в трауре, по-своему обратилась она к Зурабу и покачала головой.

Дверь открылась и из приемной вышел мужчина с пестрыми, как береста, шевелюрой и бородой.

Тонкими губами он прошептал что-то женщине в трауре, сел с ней рядом, посмотрел на Зураба и низко опустил голову.

Женщина больше не плакала, лишь изредка всхлипывала.

Горбатую, по всей видимости, одолело любопытство, она уступила Зурабу очередь и вся обратилась в слух.

Зураб открыл дверь.

Завотделом кадров сидел, заложив ногу на ногу, на столе и, рассматривая кончик ботинка, разговаривал по телефону. Было заметно, что он тщательно взвешивает каждое свое слово.

Рядом, откинувшись на спинку стула, сидела девушка со скрещенными на груди руками и дерзко улыбалась.

— Для вас, Варлам Варламович, мы сделаем все возможное и невозможное, — убедительно успокаивал кого-то завотделом и время от времени, прикрыв трубку рукой, подмигивал девушке. — Пусть только придет, остальное я возьму на себя.

— ...

— Совершенно нечего, будет заходить два раза в неделю.

— ...

— Ну что вы, Варлам Варламович, как вы можете об этом говорить, мы вам стольким обязаны.

— ...

— Хорошо, Варлам...

Он повесил трубку и после короткого молчания повернулся к девушке:

— Вот так-то!

— Что ему нужно? — спросила она.

— Сил нет, доконал он меня своим сопляком, на работу устраивает...

Зураб шаркнул ногой.

Мужчина изменился в лице и сел за стол.

— Садитесь, — он указал Зурабу на стул, нацепил очки и откинул со лба прядь волос.

Зураб сел и вцепился обеими руками в сиденье стула.

— Я ищу работу, — робко сказал он.

— Специальность?!

— В этом году поступил на вечернее...

— Но у нас ничего нет. Нам нужны рабочие? — обратился он к девушке.

— Нет, — она подавила зевок, прикрыла глаза и словно в такт музыке забарабанила пальчиками по столу.

— У нас ничего нет, — повторил мужчина и, зарывшись головой в бумаги, добавил: — Зайдите как-нибудь в другой раз...

— Что же мне делать? — спросил Зураб.

— Мы почему знаем? — удивились оба.

— Поищите в другом месте, — посоветовал мужчина и сморщил лоб.

— Везде говорят одно и то же.

Зураб встал и направился к двери.

— Ишь ты! — надула губы девушка...

...В коридоре все сидели на прежних местах. При виде Зураба горбунья встала и, проходя мимо него, обернулась на мужчину и женщину и вздохнула:

— Я же говорила, у нее и вправду сын умер.

— Ну как, сынок? — обратилась женщина в трауре к Зурабу.

— Что они могли сказать? — махнул рукой мужчина. — Сказали небось, что у них ничего нет.

— Так оно и есть, — ответил Зураб.

— Дашь в лапу, так сразу появится, чтоб им пу-сто было.

— Как же им деньги предлагать, со стыда ведь сгореть можно! — наивно удивился Зураб.

— Надо же, мы даем, и нам же стыдно должно быть? Возьмут и глазом не моргнут. Так-то вот...

Зураб спустился к набережной. Мутные, свинцовые воды Куры напомнили ему родную, кристально чистую Верхвилу, с журчанием текущую по извилистым порогам.

Город не переставал удивлять его. «Где мне взять деньги? — думал он, считая в уме собранные по крохам материнские деньги. — Попрошу-ка у дяди, — радостно додумался он и сам себя успокоил. — Ну, разумеется, в долг».

У дяди была пятикомнатная квартира в Ваке... Зураб долго ходил вокруг дома. Раз десять рука его дотягивалась до звонка и опускалась, прежде чем он решился позвонить...

Дядя с трудом признал всего лишь раз или два виденного племянника. Долго обнимал и целовал, радостно приговаривая:

— Боже, как ты вырос!

Потом, шлепая тапочками, вразвалочку проследовал вслед за племянником в комнату.

Зурабу почему-то запомнились стариковские поло-сатые пижамные брюки, из-под которых торчали жилистые лодыжки со сморщенной кожей.

Зураб ступил на натертый до блеска пол и испугался: «Как бы не растянуться здесь, — усмехнулся он про себя, — вот будет потеха».

Потом дядюшка прошлепал на кухню, чтоб поставить на огонь чайник. Зураб сел на один из стоящих вокруг стола стульев, принялся разглядывать уставленную антикварными вещами комнату и думал о том, какая судьба была у этих безделушек, кому они принадлежали, кого радовали, кому приносили огорчения и слезы...

А заглянув в дверь, ведущую в другую комнату, удивился: «И для чего ему столько добра?».

Зураб положил руку на стол. На отполированной поверхности остался след от его пальцев. Он кинул взгляд в сторону кухни и быстро протер рукавом край стола.

...Когда Зураб попросил у дяди денег, старик прямо изошелся слезами — откуда, мол, сынок, у меня могут быть деньги, каждую копейку считаю, чтобы с годом не помереть.

— Дядюшка, родненький, возьми эти деньги. Клянусь мамой, больше у меня нет, — Зураб с мольбой всучил ему четыре ветхие бумажки. — Не обижайся, что так мало. У меня и вправду больше нет...

...Зураб нашел работу.

Он часами сидел в библиотеке на самом последнем стуле. Изредка отрывал от книг красные от бессонницы глаза, смотрел на спины сидящих перед ним и думал о том, что, быть может, не так уж и плохо плестись у жизни в хвосте. Ведь замыкающий идет по дороге, проторенной до него другими, и ему она виднее.

Ее звали Мегона. Она была стройной голенастой девушкой с тонкими чертами лица и пухлыми губами, с блестящими и зелеными, как у кошки, глазами, обрамленными густыми ресницами. Ее матовая кожа излучала таинственную, самой природой подаренную ей женственность.

Ее любовь серебрястой, искусно сплетенной роковой сетью притягивала и неотвратно опутывала неосмотрительно прикоснувшуюся к ней жертву.

По уши влюбленная в себя, она и от окружающих ждала преклонения. Если бы мужчины всего света сложили у ее ног сердца, она приняла бы их как должное.

Мегона не говорила и двух слов без того, чтобы не залиться беспричинным смехом. Потому что знала — когда она смеялась, то становилась еще более неотразимой.

Иараджули любил эту дурашливую болтушку и в то же время ненавидел.

Ненавидел потому, что она щедро расточала всем кокетливую улыбку, которую он считал своей собственностью.

Порой в ее глазах Зурабу виделось бесчисленное множество томно потягивающихся кошек, и его охватывало жестокое желание схватить их за хвосты и отшвырнуть как можно дальше...

...На ее скулы падала решетчатая тень от жестких, накрашенных ресниц.

«Она моя, моя, — думал Зураб и прижимался к ее жаркому боку. — Не спит, а глаз не открывает. Стыдится!»

Мегона повернулась к нему и улыбнулась. Нет, это не была улыбка стыдливости.

«Словно ничего не случилось», — удивился Зураб.

Она постучала пальчиками по его плечу, облокотилась на локоть, откинула волосы и, зевая, сказала:

— Встали, поздно уже.

— Куда ты торопишься?

— Домой, — Мегона села в кровати, дотянулась до платья и покачала головой: — Помялось... Во всем ты виноват.

— Это теперь и твой дом, — Зураб свесил голову с подушки и привлек девушку к себе.

— Глупышка ты, — Мегона натянула чулок. — Разве это дом, — она презрительно огляделась по сторонам... — Что люди скажут?

— Тогда почему же ты?.. — у Зураба вытянулось лицо.

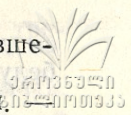
— Было интересно, какой ты...

Зураб почувствовал, как потекла по его телу ледяная река, как разделилась на два рукава и достигла пяток, как забилося и затрепетало сопротивляющееся быструму течению вод сердце.

Его охватил жар, проник в кости, иссушил реку и капельками пота проступил на обмякшем, бесчувственном теле...

...И ему страшно захотелось схватить ее за волосы и бить, бить до тех пор, пока ее плач и боль не смоят жестокой обиды.

— Убью, — выдохнул он.



Он бил ее наотмашь по заплаканному, покрывшемуся пятнами лицу.

— Значит, интересно, да?.. — безумствовал он. Вот я какой, вот какой...

...Мегона вышла замуж.

Вселенная превратилась для него в огромный, серый, стянутый над головой узел.

Иараджули бродил по серым улицам в толпе серых людей и искал на сером облачном небе радугу.

Он видел серые сны и предавался серым мыслям.

Потом рядом с ним возникали и исчезали серые, похожие одна на другую женщины, а он все искал потерянные краски, по которым и дух и плоть его истосковались...

Краски горели, а он задыхался от запаха гари и чада.

Очаг напоминал разинутую драконью пасть. Он яростно скрежетал зубами-угольями и играл язычками пламени. Но вот язычки округлились, сникли и распластались по раскаленным углям.

Зураб сидел на низком табурете и читал. Его зазнобило, он съежился, спрятал голову в плечи и, прижавшись, подвинулся поближе к огню.

Рядом с очагом, на тахте, покрытой домотканым паласом, сидела женщина в черном платке, из-под которого виднелась прядь стальных волос.

Жалостливо склонив голову на плечо, она пристально рассматривала лежащие на коленях черные, загрубевшие ладони.

— Тебе холодно, сынок? — спросила она.

Но с головой ушедший в книгу Зураб не проронил ни слова, и она вновь понуро опустила голову, оправила край паласа, оперлась руками о тахту и встала, всеми силами стараясь скрыть от сына пронзившую тело боль, схватилась одной рукой за поясницу, другой отряхнула подол платья, накинула на плечи шаль и направилась к двери.

Зураб проводил ее взглядом и увидел в открывшуюся

ся дверь заснеженную крышу соседнего дома, чернобелую хворостяную изгородь и обрывок серого неба.

Затем мать показалась в окне. Она остановилась, наверное, надела калоши, взяла палку и скрылась за рамой.

Зураб вышел на порог. До самого сатонэ¹ отпечатались на снегу маленькие остроносые следы и черные дырочки от палки.

Ради матери Зураб был готов на все. Хотя и не знал, во имя чего — во имя любви или во имя боли, пронзающей его сердце при мысли о матери.

Он редко приезжал из города. Да и в свои нечастые наезды думал лишь о том, как бы побыстрее скрыться от ласкового и молящего материнского взгляда и рассеять свое горе в людской толчее.

Дверь сатонэ открылась и вновь захлопнулась. Мать возвращалась, осторожно ступая по собственным следам. Зураб отошел от окна, сел на табурет и открыл книгу.

Мать принесла дров, сложила возле очага, встала на колени, сгребла рассыпанные по полу щепки, бросила их в огонь, подула на угли и встала.

Она долго смотрела на сына, потом нерешительно обняла его за плечи и прижалась щекой к волосам. У Зураба перекошилось лицо, словно он неожиданно убедился в своей виновности и вдруг почувствовал себя совсем маленьким... Каким странным и неестественным показалось ему тепло скользящих по плечам жестких ладоней...

«Ох, если бы ты знала, мама, как я злюсь на тебя в эту минуту... Чем я провинился перед тобой? Почему терзаешь меня своей безграничной любовью? Возненавидь меня, возненавидь, сжался надо мной, бога ради! Но ты ведь ничего не знаешь! Если бы ты знала, мама, кого ты любишь...Какие мы несчастные, мама...»

— Ну ладно, я ведь уже не маленький, — Зурабу показался странным собственный голос.

Ее руки застыли на шее сына, она молча постояла некоторое время, потом повернулась и, тихо шлепая тапочками, отошла.

В очаге по-прежнему пылал огонь. Гудели сырые,

¹ Сатонэ — строение, где пекут хлеб.

словно заплаканные дрова, и слезы их лопались с треском...

Зураб отодвинулся от огня и оглянулся на мать. Она обиженно, как наказанный ребенок, забилась в угол и уткнулась подбородком в дрожащие ладони.

Потом она вышла.

Зураб знал, что она снова пошла в сатонэ. Там, в тепле, она сядет на сырые дрова и станет оплакивать день, когда родилась на свет...

Эти тихие слезы леденили Зурабу душу, и ощущение собственного ничтожества еще сильнее отдаляло его от матери.

Зурабу захотелось выбежать на улицу и идти, нет, бежать без оглядки неведомо куда, зарыться в снег, чтобы охладить горящий от материнского поцелуя затылок...

Хотелось вырвать из груди и разорвать зубами свое злонравное, себялюбивое и глухое к чужой боли сердце.

...Зураб отрешенно стоял в сенях.

Мимо него проходили мужчины и женщины. Он пожимал потные и скользкие, как змеинная кожа, ладони, его похлопывали по плечу, с рыданиями бросались на грудь, говорили какие-то слова и проходили в пропитанную запахом ладана темную комнату.

Там, посреди комнаты, со скрещенными на груди руками лежала мама, и по ее желтому лбу пробегала тень зажженной у изголовья свечи.

И Зурабу было стыдно перед собравшимися у гроба людьми оттого, что у мамы такие некрасивые, сморщенные, корявые руки, что на белом иссохшем лице нос ее казался еще более горбатым... Стыдился он и ее простенького черного платья и мечтал лишь о том, чтобы все это быстрее кончилось и чтобы поскорее стерлись в его памяти и образ матери, и все эти люди, и собственный стыд...»

Иараджули откинул одеяло, подложил под спину подушку, сел в кровати и уставился в темноту.

Потом встал на подушку коленями, дотянулся до окна, открыл форточку и снова лег.

Темнота отступила на несколько шагов.

В зеркале появилась похожая на черта растрепанная и горбатая тень.

Зураба охватил какой-то детский страх... Он замахал руками и крепко-накрепко сжал кулаки. Тень разозлила его.

— Да это же я, — успокоился он.

Из ванной послышалось журчание воды, словно кто-то мылся...

У Зураба кровь застыла в жилах.

Он прислушался.

Кто-то подошел к стеклянной двери.

— Кто там? — ледяной голос Зураба, закружив по телу, застыл на ребрах и стянул грудную клетку.

Дверь медленно открылась и тотчас захлопнулась.

Иараджули с силой прижался к спинке кровати.

В таинственной темноте за дверью кто-то стоял. С мокрых волос со звоном падали на пол капельки.

Она подняла голову и...

«...Заволновалось синее море. Парящим над ним белокрылым чайкам, казалось, не хватало всего неба».

Девушка вышла из темноты, и Зураб увидел, что на ней были те самые мохнатые и остроносые тапочки и рубашка цвета моря, которые он много лет назад купил для нее и с тех пор бережно хранил...

Наклонившись, девушка выжимала волосы.

Потом они лежали на ослепительно белых подушках, укрывшись мягким зеленым одеялом, которое очень долго лежало в ожидании этого дня на соседней кровати.

Он долго гладил ее рассыпанные по подушке волосы, смахивал свои слезы с ее лица, зарывался с головой в подушку и снова целовал.

И чувствовал, как ветшали и осыпались прахом сковывающие его грудь оковы и как выпорхнули из глубины его сердца затаенные, давно лелеемые им слова...

— Любимая, любимая, как я ждал тебя... Как долго я ждал тебя...

Но тут он пристально посмотрел ей в глаза, уткнулся лицом в ладони и закричал:

— Врешь, врешь... У тебя нет морщин... У тебя нет морщин... Нет...

Он снова сидел в кровати и в нелюбомении потирая лицо, рассматривал прокрававшиеся сквозь щели в оконной раме переплетенные ниточки лунного света...

Из ванной по-прежнему доносилось журчание воды.

«...Тогда Иараджули отдыхал на море... И никак не мог избавиться от странного ощущения — всюду он чувствовал себя гостем, даже в собственном доме. Ему казалось, что предстоит долгий путь в ту страну, где его ждут и боль, и радость, и любовь, и мечты, — и даже он сам...

Мысли его бродили по извилистым, слякотным дорогам, а он смотрел вдаль, на замыкаемый дорогами треугольник, откуда, он знал, берет начало ровный, светлый путь...

Но как ни старался Иараджули, не кончались извилистые тропки и не приближался заветный треугольник...

...На море разыгралась буря... Горбатые, пенистые волны стремительно наплывали друг на друга, выбрасывали на берег щепки, волокни их за собой обратно в разбушевавшуюся пучину и вновь выбрасывали, разбиваясь о рассыпанные по пляжу бетонные блоки, похожие на огромные, редкие зубы моря.

Волны, стеная, скребли усыпанный галькой пляж и оставляли на берегу свое холодное пенистое дыхание...

Иараджули еще издали заметил девушку...

Она сидела на берегу, обхватив руками загорелые лодыжки и упираясь подбородком в колени.

Девушка взмахнула головой, откинув распущенные волосы, сбросила шлепанцы, скинула платье, подошла к воде, переплела над головой руки, потом поднесла к груди приставленные друг к дружке ладони и зашептала.

«С морем разговаривает... О чем-то просит его», — улыбнулся Зураб.

Девушка вдруг повернулась и, низко опустив голову, побежала от наплывающей волны.

Она добежала до того места, где оставила платье, и...

Долго с удивлением разглядывала она сидящего на песке Зураба. Затем села на корточки, сложила на коленях руки и с восторженным ужасом оглянулась на море.

...Над морем летали белые чайки...

Но вот Зураб встал.

«Не уходи», — встрепнулись чайки.

«Уходит... Хоть бы он не ушел...» — попросила у моря девушка.

Зураб все-таки ушел.

Но почему-то постоянно думал о девушке. «Как она смотрела на меня... Интересно, о чем она просила море. О чем?..»

И вдруг... он понял, все понял.

«Неужели она не хотела, чтобы я...»

С тех пор Иараджули все время искал белых чаек.

«Кто она?... Как ее звали?... Откуда она? Почему я ни о чем не спросил у нее?..»

А потом...

В первый же день нового учебного года, войдя в аудиторию, Иараджули вытаращил глаза и застыл в оцепенении — белые чайки расшались и весело запорхали над девушкой, сидящей в дальнем углу аудитории.

— Она живет вон в том доме, — Лили вздернула подбородок, — на шестом этаже.

— Ага, — сказал Иараджули и не решился посмотреть в глаза обиженным чайкам, которые увязались за ним.

Там, в этом доме, жила женщина, которая каждый вечер должна была бы встречать его горячим супом, укладывать его в постель, рожать ему детей.

Зураба передернуло.

«О чем мне с ней разговаривать? И что я могу ей сказать?..»

«...Девушка остановилась на берегу.

Волна омыла ей ступни, отхлынула назад и обернулась уродливой скрюченной старухой.

— Помогите! — закричала девушка и побежала, скользя по мокрой гальке...

— Не бойся... Не бойся...»

— Что ты сказал? — спросила Лили.

— Ничего, — ответил Зураб.

«Кто знает, какая она? Чего доброго, испугнет моих чаек. Окоченевшие, нахохленные чайки сидели на раме, прильнув к запотевшему стеклу, и время от времени подрагивали мокрыми клювами».

— Нет!

— Ты что-то сказал? — переспросила Лили.

— Нет!.. Давай придем в другой раз.

— Сегодня! — топнула ногой Лили.

«Кто знает, какая она... Может, смотрит на меня сейчас в окно. Или спускается по лестнице. Может, уже прошла мимо. А вдруг она такая же, как та, что смотрит на меня с балкона».

У подъезда Иараджули остановился.

— Лили, может, ты пойдешь одна?

— Ты собираешься жениться или я? Вдруг она вовсе тебе не понравится?!

— Если понравится тебе, то и ладно. Мне все равно. — Он поднялся на ступеньку.

«Неужели?» — не поверили чайки.

— Пожалеешь, Зура!

Затем все его тело пронзила острая боль. Ему казалось, что оно стало огромным и пустым... И Зураб понял, что пришло время сказать то, что давно таилось в его душе, почувствовал, как родившаяся в нем иная жизнь заглатывала принадлежащую ему долю кислорода.

Как лопнувший мяч, сникло его огромное тело...

— Пусть!

Иараджули стоял на балконе, положив подбородок на железные перила, и в сложенные трубочкой ладони, как в калейдоскопе, наблюдал за снующими по улице людьми, которые, как разноцветные стекляшки,

собирались в замысловатые узоры и вновь рассыпались.

Зурабу страшно захотелось смешаться с толпой и засверкать в ней необычным, ярким цветом.

Он поднял голову, потер подбородок с отпечатавшейся от кромки перил ложбинкой и вернулся в комнату.

Увиденное запечатлелось в его сознании черно-белым негативом.

И лишь когда у него за спиной захлопнулась дверь, он осознал, что бежит по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

«Куда же я все-таки?..» — спрашивал он себя.

Он шел по улице, оглядываясь по сторонам, и радовался тому, что никто не замечает, как он отличается от других. Он радовался, пряча расплывшееся в улыбке лицо, и боялся, как бы кто-нибудь не разгадал его тайну.

Он спешил, словно опаздывал туда, где его давно ждали.

«Но куда же я все-таки иду?» — не переставал он спрашивать себя.

В парке Иараджули сел на облезлую скамейку.

По ту сторону красной песчаной тропинки стройным рядом выстроились аккуратно стриженные кустики.

Послышался звонкий ребячий смех.

На тропинке, вытянув руки и растопырив пальцы, кружилась шести-семилетняя девчушка с повязанными платком глазами. Вокруг, смеясь и подзадоривая ее, бегали такие же, как она, девочки и мальчики.

Девочка, как видно, устала или же у нее закружилась голова, она зашаталась и опустилась на корточки.

С одной из скамеек поспешно вскочила женщина и окликнула девочку.

Та вдруг резко вскочила, вприпрыжку подбежала к матери, залезла к ней на колени и обвила шею руками.

Они были похожи.

Женщина, смеясь, отстранилась от прильнувшей губами к ее щеке девочки, поправила у нее на голове бантики и звонко чмокнула.

«...По ночам Зураба будил стон матери. Он открывал глаза.

Согнувшись, мать подходила к его постели, вставала перед ним на колени и, уткнувшись лбом в одеяло, причитала:

— Господи, сынок, что же с тобой будет?

Тогда Зураб не понимал, отчего мама плакала...

В ту ночь оба не сомкнули глаз — и изнемогающая от боли женщина, и затаивший дыхание мальчик.

Утром мама надела нарядное платье, долго целовала его, потом отвела к соседям, к Лили, и, потупив влажные от слез глаза, сказала:

— Я скоро поправлюсь и вернусь.

Потом Зураб тихонечко прокрадывался в пустой дом, запирали изнутри дверь, зарывался головой в материнское платье и плакал.

Он открывал нижний ящик комода, поднимал лежащую на дне газету и долго смотрел на пожелтевшую фотографию отца.

Затем он брел по протоптанной сквозь кукурузное поле тропинке, спускался к мельнице и смотрел на дорогу, по которой должна была вернуться мама...»

...Ребятишки по-прежнему смеялись и резвились, по-прежнему щебетала на коленях у матери девочка с бантиками в волосах.

Иараджули представил этих ребятишек взрослыми — усатыми мужчинами и стройными женщинами, и удивился тому, что одни люди бывают хорошими, а другие дурными...

Кто-то сел рядом.

И Зураб вдруг увидел синее море и обессиленных от долгого ожидания белых чаек.

У девушки на лбу пролегли едва заметные морщинки.

Перевод с грузинского





КОЛХИДСКОЕ РОДЕО

Видел ли ты перед скачкой коня?!
Яростно пена срывается с губ,
Гневно дрожит, словно весь из огня,
Жаркий, на солнце сверкающий круп.
Если не видел, смотри, мне не жаль,
Только при этом себя не жалея,
Вздروгни, когда разорвется вуаль
Белых туманов среди синих полей!
Стать междометием этих минут
Сам я хотел бы, волнением объят,
Кони отточенной рысью бегут,
Точно стихи вдохновенно творят!
Ты, красотой потрясенный, смотри
И становись все сильнее и сильнее,
Как тетива, напрягись изнутри,
В мыслях стрелой догоняя коней.
Ты, красотой ослепленный,
Прозрей,
Страстью, как кровью,
В тот миг изойди!
Кони несутся
Быстрее и быстрее,
Словно бессмертье их ждет впереди.



Заросли пшата.
Цветущий малинник.
Храм на холме, как в небесном гнезде.
Льет кипарис в неусыпной молитве
Мягкую тень по озерной воде.

Долго читать еще ветру Лакады
Папоротника пергамент лесной.

Выпекло тонкий орнамент заката
Солнце-тонé над земной тишиной.

Эта гора,
Точно синею пряжей,
К небу привязана узким дымком.
В море, к Понтийским воротам
На стражу
Мысли мои устремились тайком.
То, что на древней земле отзвучало,
Вызову голосом мертвых теней,
Чтобы прошла по воде у причала
Дрожь от дыханья оживших корней...

Рядом кусты ежевики и чая
Вдоль кукурузного поля
Цветут.
Время, безжалостно все примечая,
Не пощадит ни тайник, ни уют.

Имя тебе и поныне — Колхида,
Эта полоска земли, эта пядь,
Рай на земле, небесам не в обиду,
Край, что за миг можно взглядом объять!

ВОСПОМИНАНИЕ

Там в полях у зимы
Утомленный, болезненный вид,
На безмолвном снегу
Неподвижно лежат ее руки.
Жалкий крошечный дом на меня с укоризной глядит
Охладелым окном, потускневшим от старческой скуки.

На высоких ногах,
Как журавль, кукурузный амбар
Опустел, позабыв
Мои страшные детские сказки.
Я еще не успел
Потерять свой мальчишеский дар
Самому выходить
На сквозные ветра без опаски.
Там по небу прошли
В сновиденьях мои корабли,

Там, очнувшись от сна,
Я покинул и дом, и селенье,

Ибо мысли мои
Сниззошли наконец до земли...
Снег рванулся мне вслед
И, рыдая, упал на колени.

ВЕСНА

Цира, цветы рассыпая со смехом,
Полям цветущим бежала куда-то.
Сыпался смех и, казалось, был эхом
Трелей на ветках апрельского сада.
Цира бежала пугливее лани,
Словно летела куда-то в смятенье,
То ли на крыльях неясных желаний,
То ли вдогонку за собственной тенью.
Тонкого звонкого смеха раскаты
В небе тонули, как в синем колодце.
Страстно качался апрель до заката
На волосах белокурого солнца.
Будто испугана взрывом бутона
В буйном цветенье багровом и белом,
Цира бежала от вешнего звона,
Вся зачарована собственным бегом.

●

Всплыл из тумана в ущелье под нами
Контур села, как цветок среди скал.
Радугу, как семицветное знамя,
Ястребом ветер в клочки разорвал.
Сколько таскать мне сизифову глыбу
Зыбких видений,
Химер без лица?
Боже, спаси от безумия либо
Дай же сойти мне с ума до конца!
Кто-то нездешний зовет отовсюду,
Яркими красками манит во мрак.
Если случится еще одно чудо,
Разум погаснет, как чахлый очаг.
Боже, за что испытываешь терпенье?
Вечность поет,

Завлекая в свой плен.
Верить начну,
Если кончится пенье,
Лишь в неизменную суть перемен.



Перевела Лариса ФОМЕНКО

МУЗЫКА

Плачет скрипка,
Трепещет смычок.
Пробиваясь сквозь тьму,
Серебристые звуки, как брызги, сверкают, звеня,
Из безмолвья рождается вечное.
Я не пойму,
Жил ли я до сих пор?
Или не было вовсе меня?
Это звуки?
Нет, пена морская, как пух тополей,
Под ударами ветра летящая с гребня волны!
Это дерево жизни рокошет всей кроной своей.
Голос бога я слышу из тайных глубин тишины.
Льет мне в душу луна, словно сок винограда, свой свет.
Бубенцы, бубенцы, бубенцов мириады звенят.
Это искры мерцают и сны,
Это падает снег,
Это сотни лучей осыпают родительский сад.
Льется музыка света с небес,
Затопляя мой взор.
Небо, звездная книга судьбы,
Кто прочесть тебя смог?
Льется музыка...
Я не пойму, жил ли я до сих пор?
Или вовсе не жил?
Плачет скрипка,
Трепещет смычок.

Как я жил?
Я сухую смоковницей гнул к земле.
Как я жил?
Я без крыльев пытался пуститься в полет.
Утомленная музыка медленно гаснет во мгле.
Из безмолвья рождается вечное...
Скрипка поет...

Перевела Нина ГАБРИЭЛЯН

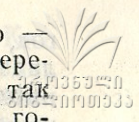


ЖИВАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

В ГОРАХ ГРУЗИИ

С ТАРОЖИЛЫ утверждают, что давно не выдавалась в Тбилиси такая своеобразная осень. Конец ноября, то и дело налетает ветер и разбрасывает пригоршни жухлых листьев, ерошит поникшую, потемневшую траву на бульварах, свистит в оголенных ветвях, но ни эти сумасшедшие порывы, ни струящаяся на город сверху, откуда-то со снежных хребтов, утренняя прохлада не мешает наплыву дневного тепла. Глядишь, к полудню сизый туманец начинает рассеиваться, как бы разрываться на куски, клубы его уплывают прочь, цепляясь за откосы, за горбатые скалы, повисая над горными впадинами, скатываясь в ущелья. Солнце, еще недавно казавшееся бледно-желтым пятном, постепенно набирает силу, прореживает облака и вот уже ярко полыхает в небе, проливая свой свет на землю, на город, лаская в лучах обнаженные деревья, утратившие краски кустарники. Ласка перепадает и людям, термометр в это время дня подскакивает до двадцати градусов, припекает совсем полетнему, и горожане опять могут щеголять в легкой одежде. Такая выдалась нынче осень.

Бредешь в осенний погожий день проспектом Руставели, сворачиваешь в узкие улочки старого города, вскидываешь глаза на сверкающие на солнце вершины гор, над которыми кружат облака, поглядываешь вокруг на людей, ловишь добродушные улыбки, вслушиваешься в гортанную напевную речь и чувствуешь, как в



сердце закрадывается непонятное чувство. Что это — печаль? Тревога? Или, скорее, странная тоска, перемешанная с ожиданием и надеждой. Наверное, так встречаются друзья после долгой разлуки. А ведь город чем-то походит на человека. И как у людей, у городов свои судьбы. Романтическая история, ниточка которой тянется из самого детства, случается, странным образом переплетает порой человеческую судьбу с судьбой города, и ответы этой, не совсем обычной истории таинственны и манящи...

Старый Тифлис, сегодняшней Тбилиси, Грузия — разве не вошли они в наше детство вместе с Антанасом Венуолисом? С его «Кавказскими легендами»? С тем неизбывным впечатлением, которое оставила эта книга? Детские переживания всегда оставляют след. А сердце хранит все настоящее. Поэтому то, что происходит со мной сегодня в этом городе, — не вспышки настроений, не промельк эмоций; будто припомнились вдруг давние-давние связи, неотвратимые, загадочные, растревожили, повлекли за собой. Здесь жил и творил любимый писатель, здесь пришло к нему признание.

«Это в воспоминаниях А. Венуолиса перед читателем открылась панорама старого Тбилиси...» — писал Костас Корсакас. Так стоит ли удивляться, что Тбилиси кажется многим литовцам таким близким и родным. Что так волнует каждый шаг, каждое новое знакомство в этом городе, овеянном романтической дымкой. Что тянет в места, знакомые по книгам нашего классика.

Вот и я не заметил, как «крылья мечтаний» унесли меня на оживленную улицу Кирова, вздымающуюся в гору с таким звучным названием — Мтацминда (во времена юности Антанаса Венуолиса эта улица называлась Сололакская, в 1921 году она была переименована в Исполкомовскую, как отклик на установление Советской власти, и только в сороковые годы получила свое теперешнее название — улица Кирова), и я очутился возле аптеки, где в 1904—1905 годах работал помощником провизора литовский писатель.

Называлась она тогда «Аптека Отена». И хотя у аптеки уже давно свой номер, люди по привычке нет-нет да и упомянут старое название. Просматривая как-то подшивку грузинского журнала «Фармация» за 1930

год, я натолкнулся на статью профессора И. Кутателадзе об аптеках Грузии, так вот оттуда я узнал, что интересующая меня аптека была основана в 1829 году неким Шенбеком, а с 1838 года перешла во владение к врачу-немцу Карлу Шмидту, затем в 1872 году — к врачу армянского происхождения Микелю Шахрояну, и уже тот продал ее магистру Фердинанду Отену, переехавшему из Эстонии в Тбилиси. Любопытная деталь: спустя почти восемьдесят лет интерьер аптеки, витрина, двери, расположение комнат практически не изменились. В первой комнате, так называемой «офисине», сохранились даже те же самые столы, шкафы для лекарств, которые были при А. Венуолисе. В небольшом дворике стоит — как стоял тогда, в прежние времена, — жилой дом. Он тоже, кстати, принадлежал раньше Ф. Отену. На втором этаже, справа от лестницы — бывшая комнатка А. Венуолиса. Этажом выше размещалась семья хозяина, теперь здесь живет потомок Фердинанда Отена, его внук Константин Отен, по профессии инженер. Меня, естественно, одолело желание поглядеть семейный альбом, вдруг обнаружится какая-то фотография, на которой запечатлен Фердинанд Отен со своим помощником, — увы, такой фотографии в альбоме не нашлось...

Но в общем обстоятельства складывались довольно удачно, поселили меня как раз в той самой гостинице «Тбилиси», где в 1946 году проживали мои соотечественники, путешествовавшие по Закавказью. Кто знает, может, именно в этой комнате с высоким потолком, с окном во всю стену, сквозь которое струится неиссякаемый солнечный поток, с длинным балконом, выходящим на улицу, и жил Антанас Венуолис? Сидел подле маленького столика с блокнотом и заносил туда свои впечатления или, откинувшись в кресле, глядел в меркнувшее окно и вспоминал годы юности, проведенные в этом городе, сравнивал, размышлял, радовался, грустил... Может, в этих стенах и был задуман очерк «В братских республиках»? А на этих старых, изрядно вытертых, не раз побывавших в ремонте стульях сидели Сандро Шаншиашвили и Георгий Леонидзе, задумавшие вытащить литовского гостя на природу, показать ему местные достопримечательности, горные грузинские селения... Мысль эта пришла им в голову

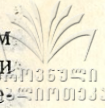
одновременно: Сандро решил отвезти Винуолиса в Кахетию, в родную деревню, показать ему виноградники, угостить редкими сортами винограда, молодым вином. Но Леонидзе опередил его. Явился в гостиницу первым и объявил, что они отправляются в Сагурамо, на родину великого Гурамишвили... Я как сейчас вижу Антанаса Винуолиса — высокого, прямого, чуть вскинувшего голову, словно устремленного вперед, элегантного, с задумчивым лицом... Углубленного в мысли. Встреча с городом, в котором не был 42 года, наверное, всколыхнула чувства, пробудила воспоминания, заставила невольно пристальнее оглядеться вокруг, сравнить. Сорок два года — срок немалый: бурлит, переливается всеми красками проспект Руставели, ничем не напоминая мрачный, безлюдный проспект Головина, где обитали первые богатеи города и аристократическая верхушка. «Бывший проспект Головина так разросся вширь, что многие старые дома или как бы отодвинулись на задний план, или были вообще снесены, как это случилось и со значительной частью строений на одной из центральных магистралей Москвы, улице Горького, а на их месте выросли новые многоэтажные здания», — писал в своих путевых заметках Антанас Винуолис. Гора Мтацминда тоже показалась ему в тот раз неузнаваемой, куда делась прежние запустение и безликость — «склоны и подножие засажены деревьями, зеленый наряд покрывает вершину». А побывав в поездке по Закавказью уже после войны, уже в 1951 году, писатель отмечал: «...орошается гора искусственным путем. Все горы вокруг Тбилиси задумано превратить в цветущие сады и скверы и соединить их с Мтацминдой, которая уже озеленена, а также с заасфальтированными дорогами, всякими тропками и бульварами». На полпути к Мтацминде стоит церковь святого Давида, во дворе которой находится Пантеон — усыпальница всех великих писателей и деятелей культуры Грузии. В скале — грот, там под тенью стройных кипарисов покоятся Александр Грибоедов и его жена Нина Чавчавадзе. Писатель Юазас Паукштылис не раз рассказывал, как во время их пребывания в Тбилиси Винуолис водил литовскую делегацию в Пантеон. Склонив голову, он долго стоял у надгробия Грибоедову, потом чуть слышным голосом прочитал выбитые на се-

ром мраморе слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя». Слова жены Нины, обращенные вослед любимому мужу... В глазах заблестели слезы, и лицо вдруг выразило такую непередаваемую печаль, что Пятрас Цвирка подошел к Венуолису, обнял за плечи и принялся рассказывать что-то занимательное, чтобы хоть как-то отвлечь писателя от грустных мыслей, вывести из состояния скорби.

И еще одно маленькое откровение не откровение, страничка из прошлого. Вернее, возвышенная история из ранней, юношеской поры литовского классика. На второй день пребывания в Грузии Антанас Венуолис вызвался сопровождать своих собратьев по перу в Болнисский Сион, один из древних соборов, славящийся фресками, признался, что был влюблен в ангела, на которого тогда, в юности, часто ходил смотреть, и до сих пор сохранил какое-то трепетное отношение. «Я показал его друзьям, — вспоминает А. Венуолис в путевых заметках, — он произвел на них впечатление. Тем он и дорог, и интересен, что является произведением неизвестного художника. Один грузин рассказывал мне в ту далекую пору юности, что это изображена рано умершая невеста одного знаменитого художника, запечатлена в обличье ангела под сводами собора на века вечные».

От воспоминаний никуда не деться. Стоит свернуть к старым тбилиским баням с серными купальнями — и опять настигнут тебя мысли о былом, возьмут в полон. Ведь молодой Венуолис бывал частым посетителем здешних бань, о чем не раз писал в своих воспоминаниях. «Давайте-ка отправимся в серные бани, помолодеем, предложил Венуолис, — делится воспоминаниями писатель Альбинас Жукаускас, которому довелось быть в совместной с ним поездке. — Когда-то в молодости он ходил сюда к банщикам-персам, и те мыли его в глубоких каменных ямах, наполненных железисто-серной водой. Из купален мы вышли и впрямь как будто помолодевшими, в добром расположении духа, радостные».

Можно добавить, что Тифлис истари славился своими горячими серными источниками, которые били из-под земли, вырываясь на поверхность с пятиметровой



глубины. Еще Александр Сергеевич Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум» добрым словом поминает эти купальни: «Персиянин ввел меня в бани: горячий, железно-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлиских бань».

На крутом обрыве над Курой — Метехский замок. Здесь в 1905 году томился в заключении Венуолис вместе со многими прогрессивными людьми, борющимися за светлое будущее. Свои переживания, обиды, несправедливость, что довелось испытать в этих стенах, писатель очень достоверно передал в заметках, озаглавленных «В тюрьме» (1905 год). «Первый свой рассказ о пребывании в тифлисской тюрьме я написал в 1905 году. Революция 1905 года явилась для меня первым серьезным жизненным уроком...» — писал Антанас Венуолис.

В тюрьме Венуолиса посадили вместе с его другом юности, грузином Иванэ Брегадзе, работавшим помощником провизора в той же аптеке Фердинанда Отена. Спустя много лет, в 1969 году, мне удалось разыскать этого человека, и он порассказал немало интересного о тех далеких мгновениях и часах, проведенных с Антанасом Венуолисом-Жукаускасом.

— Познакомились мы с Антанасом Жукаускасом, будущим писателем Антанасом Венуолисом, осенью 1904 года, когда он начал работать в аптеке Отена. Аптека наша была весьма популярна среди населения, у нее, как говорят, было доброе имя. И работников к себе просто так, с улицы, хозяин, естественно, не брал. Был очень разборчив, надо заметить. Но, принимая на работу Антошу, он не прогадал, — начал свой рассказ И. Брегадзе. — И смысленности, и исполнительности у нового помощника провизора было вдосталь. Работая бок о бок с ним, мы много дискутировали по вопросам фармацевтики, беседовать с Антошей было одно удовольствие, хотя он и прекрасно во всем разбирался, отменным слыл работником, никогда не заносился, ровен был в общении со всеми...

Иванэ Брегадзе подробно поведал мне, как и за что их схватили и отправили в Метехскую крепость.

— В те годы среди интеллигенции очень ощущались революционные настроения. Мы уже в то время

жили общественными идеалами. Вместе проводили свободное время. Доверительно делились мыслями. Как жить? Этот вопрос тревожил нас. Во имя чего? Борьба за грядущее или прозябать, заботясь только о личном достатке? Возможно, кое-кому тогда казалось, что куда мудрее жить для себя, ни во что не вмешиваясь, довольствуясь тем, что есть сегодня у тебя, не мечтая о будущем. Но в нашей среде таких было, честно признаться, немного... Работали в аптеке Отена по большей части люди прогрессивные. Мы устраивали собрания, распространяли листовки. Полиция любила нагрянуть с обыском. Однажды мне поручили распространить листовки, я сунул пачку себе за пазуху и довольный явился в аптеку. Товарищи предупредили, что обо мне справлялась полиция. Я тут же передал листовки Антоше, и он их надежно спрятал. Казалось, полиция обо мне на время забыла... И вот вскоре произошла, помню даже точную дату — 21 января 1905 года — политическая демонстрация. Вышли на улицы Тифлиса и фармацевты. После этих событий очень многих схватили, в том числе и нас с Антошей, отвезли в Метехскую крепость. Здесь в одной камере мы отсидели с Венуолисом-Жукаускасом почти два месяца...

И теперь, отправляясь всякий раз в Тбилиси, накануне такой поездки я обдумываю будущие свои встречи. В этот раз много размышлял о том давнем свидании с Иванэ Брегадзе. Прошло двенадцать лет. Ничего себе срок! Если тогда приятелю Венуолиса шел девяносто первый, то теперь ему должно быть 102 года, на Кавказе привелось общаться и с такими старцами, вот было бы хорошо, если бы Брегадзе оказался в числе долгожителей... Увы, оптимистические мои предположения не оправдались. Иванэ Брегадзе скончался на девяносто четвертом году, а его жена, которую я тоже знал, — всего несколько месяцев тому назад. Все это сообщил мне их внук — Ваню, партийный работник, славный, приветливый человек. В его доме я обнаружил книги Венуолиса с сердечным посвящением деду, а также его последнее письмо, написанное, может быть, всего за месяц до смерти. Он признавался, что мечтает по осени посетить Кавказ, что стосковался по горам, по удивительным осенним краскам Грузии, по своим добрым, надежным друзьям. Хочет обязательно побывать

31115520
01010333

в Тбилиси, хоть на пару дней завернуть в город своей юности, навестить давнего друга. Ваню вспоминает, что дед написал в ответ Винуолису, чтобы тот непременно сообщил заранее о своем приезде, даже прислал телеграмму. Но телеграммы они так и не дождались. Разве что Тбилиси достигла печальная весть о кончине Антанаса Винуолиса. Случилось это семнадцатого сентября... Как раз по осени...

— Дед был очень серьезный, собранный, чувств своих никогда никому не выказывал, особенно боль, все держал в себе, — вспоминает Ваню, — единственный раз, когда видел в его глазах слезы, в тот печальный день. Узнав, что его друга юности больше нет на свете, дед, не таясь, заплакал. Вообще в нашем доме Антанаса Винуолиса часто вспоминали, тепло о нем говорили, будто он по-прежнему живой. Дед рассказывал, как они приходили на выручку один другому. И не только в молодые годы. Свидевшись в 1951 году, они разговорились по душам, и дед посетовал на трудную жизнь, на семейные заботы свои. Рассказал, что хотя и вышел на пенсию, пришлось устроиться в аптеке на улице Камо, не так просто свести концы с концами, пенсии не хватает. «Послушай, человек ты мой, да ведь мы сидели вместе с тюрьме, в Метехской крепости. Тебе полагается персональная пенсия! Я помогу тебе». Пообещал и сделал. Деду и впрямь вскоре назначили персональную пенсию.

Ваню предложил мне побывать на старой квартире деду, где в 1951 году гостил у него Винуолис. В той квартире мне уже доводилось бывать в 1969 году, в тот давний мой приезд в Тбилиси. Там, на улице Пиромани, 11, живут сейчас дальние родственники Брегадзе. Дом, опоясанный длинными балконами и верандами, стоит в тесном, узком, словно рукав, дворике. Здесь, на одном из балконов, и сидели в тот раз старые друзья-приятели, глядя на заснеженные вершины гор. Иваню хорошо запомнил слова литовского писателя:

— Состарились мы с тобой. Только вершины гор да голубые небеса над Грузией те же, что были.

С улицы Пиромани я поехал в ботанический сад, любимое место молодого Винуолиса. «Мой попутчики были очарованы Кировабадским ботаническим садом (перед поездкой в Тбилиси литовские писатели побы-

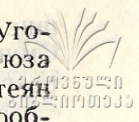
вали в древней столице Азербайджана—бывшей Гяндже, ныне Кировабаде), но когда они посетили Тбилисский ботанический сад, их восторгу не было предела, признали, что и впрямь другого такого нет нигде...» — делился дорожными впечатлениями А. Венуолис. А ведь Иванэ Брегадзе еще тогда, двенадцать лет назад, открыл мне маленькие тайны, рассказал про привычки и пристрастия своего литовского друга:

— Самое заветное место, где Антоша любил прогуливаться, — это ботанический сад. Память, надо сказать, была у него отменная, чуть ли не все названия деревьев и растений знал наизусть. Здесь круглый год цвели цветы, воздух стоял особенный, каких только ароматов в нем не было! Дышалось легко, привольно... Усаживались, бывало, на скамейке и разглядывали все эти диковины природы. Иногда Антоша просил меня спеть что-нибудь. Я затягивал песню. Он мне подпевал. Между прочим, Антоша не раз уговаривал меня бросить аптеку, карьеру фармацевта и заняться всерьез музыкой... «У тебя же голос, Иванэ. Это большой дар. Развивай его. Тебе надо учиться. Из тебя выйдет хороший солист». Так и не послушался его. Скорее всего, потому, что люблю свою профессию, фармацевтическое дело всегда считал своим призванием. Когда мы встретились с Антанасом Венуолисом-Жукаускасом уже в 1951 году, он сказал мне: «Если бы не удалось разыскать тебя в аптеке, искал бы по оперным театрам, так как в глубине души не был уверен, что пропустишь мой совет мимо ушей».

А ведь, небось, далеко не все знают, как непросто Венуолису удалось напасть на след своего друга юности. Загвоздка заключалась в том, что в памяти сохранилось только имя — Иванэ. А фамилия, как назло, стерлась, затерялась в толще лет.

— Искать в Тбилиси твоего Иванэ равносильно поискам иголки в стоге сена, — убежденно заявил Алекси Гомнашвили, к которому Венуолис обратился за помощью.

Но со свойственной ему энергией тут же решительно начал действовать: обзвонил все городские аптеки, разыскал старейших аптекарей и опросил их — и тут же выяснилось, что человек не иголка, а миллионный город не стог сена. Еще раз подтвердилась старинная



мудрая поговорка — кто ищет, тот всегда найдет. Угломонился Гомишвили лишь тогда, когда порог Союза писателей Грузии переступил тот, ради кого и затеян был весь этот неустанный поиск. Так благодаря сообразительности и неиссякаемой энергии одного человека был найден другой...

Говорят, с романтикой дружится в юности. Однако иные люди не расстаются с нею всю жизнь. Именно таким был Венуолис, никогда не покидали его задор молодости, душевный непокой, тоска по чуду, вдохновенное ожидание счастья. Даже убежденный сединами писатель все еще жил теми «напоенными красотой и счастьем днями», проведенными когда-то на Кавказе. Жил горами, красками Кавказа, а самое главное — предчувствием новых встреч, встреч со своей юностью, с друзьями. Может, оттого так постоянно томился в послевоенные годы, рвался на Кавказ, стремясь раздвинуть толщу времени, еще раз вблизи поглядеть на Казбек, на кавказцев, пожить прекрасными образами, подышать здешним воздухом. Антанас Венцлова рассказывал, что когда они встретились с Антанасом Венуолисом сразу после войны, тот поделился с ним своим замыслом отправиться на Кавказ и написать еще одну легенду о нем, тем более, что сюжет уже выношен. И может, даже не одну...

Я не могу похвастаться слишком близким знакомством с Антанасом Венуолисом. Впервые увидел классика литовской литературы на Первом съезде наших писателей в Вильнюсе, в зале министерства просвещения, где проходили заседания. Общаться же довелось уже позднее. В 1946 году, когда работал в газете «Тиеса» («Правда»), мы пригласили писателя в редакцию, чтобы он поделился планами, рассказал о готовящейся поездке литовской делегации по Закавказью. И вдруг звонок. В трубке раздался бодрый, жизнерадостный голос Цвирки:

— Давай быстро сюда. У меня в кабинете сидит Венуолис. Только-только сегодня утром приехал из Аникшчяй. Задумал цикл кавказских легенд...

И вскоре я уже был в Союзе писателей, в кабинете Цвирки. Познакомив нас, Цвирка повторил все то, что сказал мне по телефону, прибавив, что уверен — после такой поездки прозаики Литвы напишут настоя-

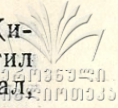
щие произведения о братстве, о дружбе наших народов. Смущенный Венуолис теплым, растроганным взглядом реагировал на эти слова.

Как известно, следствием трех поездок Антанаса Венуолиса на Кавказ в 1946—1952 годах явилось создание четырех кавказских легенд. Последнюю — «Самгорийскую пустыню» — писатель создал по мотивам грузинского фольклора.

Алекси Гомиашвили, в то время председатель Литфонда Грузии, лично сопровождал летом 1952 года А. Венуолиса и М. Слуцкиса в горное селение Квишхети, где располагался Дом творчества писателей Грузии. Он вспоминает:

— До сих пор сохранил в памяти ту поездку. Антанас Венуолис был настроен очень приподнято, можно сказать, романтически. Наверное, на него благотворно действовали прозрачный горный воздух, величественные картины природы, сами горы. В мыслях он все время обдумывал сюжет новой своей легенды «Самгорийская пустыня», много говорил о ней. Я был очень благодарен ему за это, ведь, по сути, я стал первым слушателем-читателем новой вещи известного литовского писателя. Что греха таить, в Грузии тогда о литовской литературе знали понаслышке, да и то немного. Даже имя Антанаса Венуолиса мало что говорило широкому нашему читателю. С «Кавказскими легендами» знакомились только по русским переводам. Зато теперь можно порадоваться — в честь столетнего юбилея Венуолиса у нас подготовлено новое издание «Легенд».

— А знаете, как привелось познакомиться с Антанасом Венуолисом? — продолжает свой рассказ А. Гомиашвили. — Случилось это в 1946 году, осенью. Как сейчас помню, день выдался теплый, солнечный. Антанаса Венуолиса заметил еще у входа в гостиницу «Интурист», теперешнюю «Тбилиси», познакомил нас Пятрас Цвирка, с ним мы приятельствовали давно. Разговорились. И тут выяснилась удивительная вещь — оказалось, мы с Венуолисом в какой-то мере соседи или даже родственники. Я ведь родом из Степанцминды, теперь Казбеги. Живя во Владикавказе, Венуолис в свободное время часто приезжал сюда, в это маленькое селение, раскинувшееся у подножия грузинских гор. Заходил в наш дом, был знаком с моей матерью



и сестрами... А когда возвращался в 1951 году из Кисловодска, где отдыхал с сыном и невесткой, навестил места своей юности, заехал в Казбеги. Рассказывал, что Казбеги уже ничем не напоминал ему прежнюю Степанцминду. Жизнь в городке сильно изменилась, разве что природа окрест, незабываемые очертания гор и тропки на их склонах были все те же. И Терек все такой же своенравный. Мы стояли возле гостиницы, и вдруг во мне родилось жгучее желание повидать кого-нибудь из твоих, ты понимаешь, говорил он мне, и я принялся расспрашивать, где тут живут Гомиашвили. Оказалось, там же, на старом месте, возле Военно-Грузинской дороги. И мать мою он сразу — с первого взгляда — узнал, сидела на ступеньках крыльца и вязала...

У Алекси Гомиашвили сохранились письма Венуолиса, книги с теплыми словами на титульном листе, написанными рукой самого писателя. В их числе достаточно редкие издания. Например, «Избранное», книга была выпущена в Каунасе в 1937 году. На титульном листе читаем: «Многоуважаемому другу, писателю-колеге во имя дружбы и товарищества. Антанас Жукаускас-Венуолис». На другой книге сделана надпись: «Кавказ был моей горячей мечтой в дни юности. Восхищаюсь им и теперь. А. Венуолис-Жукаускас».

— Была еще у меня одна книга с трогательной дарственной надписью, но я отдал ее музею моего родного города. Видите ли, мне думается, что этот маленький городок, Казбек, местная природа вошли в жизнь Антанаса Венуолиса, прочно с ним связаны. Быть может, впервые именно здесь пробудились в нем творческие силы... Как раз эти места вдохновляли его на создание «Кавказских легенд». Поэтому пусть местные жители, да и гости познакомятся с литовским классиком. С его произведениями. Пусть узнают, как он любил Грузию, узнают человека, для которого родина простиралась значительно дальше Аникшчяй и берегов Швянтойи — до самых Кавказских гор...

К сожалению, так немного осталось уже писателей, деятелей культуры, с которыми общался А. Венуолис, время безжалостно прореживает их ряды. Гомиашвили уже тоже немолод, давно перешагнул семидесятилетний рубеж, но по-прежнему бродит в нем дух романтиче-

ской юности. Он вызвался сопровождать нашу группу на север Грузии, в горные районы, а оттуда — воспетым Венуолисом Дарьяльским ущельем до самого Орджоникидзе (быв. Владикавказа). Нежданная радость охватывает всех нас: о таком гиде можно только мечтать, отправляясь по Военно-Грузинской дороге. Но радость наша недолговечна. На следующий день все мечты лопнули, будто мыльный пузырь... В Казбеги из Тбилиси по этой дороге не проехать — путь перекрыт, возле Крестового перевала дежурит патруль автоинспекции. Хотя в Грузии и осень, но солнечные ворота распахнуты настежь — в полдень на город обрушивается почти летний зной. Другое дело — в северной стороне, где в горах лежит снег, горячие лучи растапливают снежную пелену, начинается обледенение, в такую пору путешествовать по горам опасно... Но операторы, которые собирались снимать фильм о Венуолисе на Кавказе, упорствовали, им не терпелось подняться на Крестовый перевал. Их можно было понять...

«Путешествие по Военно-Грузинской дороге с ночлегом на стоянке Крестовая, впечатления, переживания, новые знакомства в Тифлисе, работа в аптеке и первые экскурсии по окрестностям города и историческим местам Закавказья так на меня подействовали, — писал А. Венуолис в своих «Встречах на Кавказе», — что я буквально с первых дней начал новую жизнь с новым мировоззрением, верой и осмыслением». В 1904 году он пешком прошел от Владикавказа до Тифлиса, но то была ранняя осень, не чета сегодняшним перепадам погоды с внезапной стужей и снегом в горах. Правда, спустя год писателю пришлось повторить этот переход, только теперь от Тифлиса до Владикавказа. В горах еще все было по-зимнему суровым, свирепствовали метели, каждый миг можно было ждать обвала...

«...Хотя и зимней порой, опять путешествовал по Военно-Грузинской дороге, не обращая внимания на предупреждения, что могу в пути замерзнуть или быть погребенным под обвалом. Спустя три дня все-таки благополучно добрался до Владикавказа...» — читаем в том же очерке.

Да, везение сопутствовало писателю, а что если и

нам улыбнется счастье? Вдруг строптивая Незнакомка возьмет и приоткроет нам свое лицо? Только как вот быть с постами автоинспекции?..

— Выбросьте из головы эту затею! Первый же автодорожный пост вернет ваш автобусик в Тбилиси. Не то сейчас время, чтобы отправляться на Крестовый перевал, — убеждали нас люди, преисполненные всяческого благожелательства.

Что тут поделаешь, придется подчиниться обстоятельствам и послушаться благоразумных советов, как видно. Воспользовались единственной возможностью очутиться в Казбеге. Воздушный лайнер — не прошло и часа — доставил нас вместе с досточтимым Гомиашивили в Орджоникидзе. А там в аэропорту нас уже поджидал крошечный автобусик, принадлежавший Казбегскому отделу культуры, он-то и повез всю с трудом размещившуюся группу через Дарьяльское ущелье в столь желанное место — городок Казбеге. При этом автобусик скрипел, трещал всеми суставами, чихал и кашлял. Первая наша остановка была на «восьмой версте Дарьяльского перевала» — в том месте, где открывается вид на заваленное камнями и обломками скал Кистинское ущелье, мрачное и пустынное, внизу меж камней прыгает, резвится, разбрасывая вокруг брызги, звонкоголосая горная речушка Кистанели... Кажется, вот-вот послышатся печальные напевы скрипки и ты увидишь на вершине скалы вечного музыканта — с узелком за плечами, в черной широкополой шляпе.

Чем выше взбираешься по Дарьяльскому ущелью, тем сильнее одолевает неизъяснимая грусть. Картина сменяет картину. Тут и высокие отвесные горы со снежными вершинами, окутанными легкой мглой склонами и взгорьями. Сквозь эту тонкую, прозрачную дымку различаешь и каменные холмы, и скалы с одиноко торчащими кривыми деревцами, цепко ухватившимися всеми своими корнями за безжизненную каменистую почву, их оголенные ветви дрожат на холодном, пронизывающем ветру. «В ветре — вечный бег времени» — когда-то сказал один горский поэт. И мы вдоволь надышались «горным ветром», ощутили и душой, и кожей, как время впитывает в себя прошлое. Многоголосая река времени течет, омывая сердце, — и кажется, ее могучий рокот заглушает даже бурное клокотание Тере-

ка, возвращая нас в оживший снова мир детства, полнящийся диковинными красками. Давным-давно, там, в этом благословенном далеке, когда еще не доводилось листать учебник географии, когда было неизвестно, где, в какой стороне искать на глобусе Кавказ, его овеянные тайной ущелья, мы карабкались в мечтах на вершины Кавказских гор, потрясенные и их красотой, и их суrowsтью.

В последний раз мы останавливаемся совсем неподалеку от Казбеги. На правом склоне горы лепятся несколько глинобитных домиков, напоминающих птичьи гнезда, — они взбираются все выше и выше, пока не упираются в самую верхушку. Там — вдали — глаз замечает еще целую россыпь их... Это хевсурское селение Цдо. Прямо от дороги ввысь убегает тропа, петляя по склону. Жители этого горного селения, затерянного среди скал, обитая высоко под облаками, столетиями были отрезаны от шумной жизни здесь, внизу, на земле, только редким храбрецам удавалось благополучно спуститься в Казбеги и потом вновь подняться в свое селение. И вот в 1928 году комсомольцы окрестных селений задумали собственными силами проложить хоть какую-то дорогу в Цдо. Дружно взялись за дело, организовали воскресники, и труды их увенчались успехом. В тот год как раз совершал путешествие по Военно-Грузинской дороге Максим Горький, ему посчастливилось наблюдать один из таких воскресников, беседовать с местными комсомольцами и даже сфотографироваться с ребятами на память. Великий пролетарский писатель, конечно, не подозревал в тот миг, что спустя шесть лет ему представится случай вручить одному из организаторов комсомольского воскресника удостоверение Союза писателей. Сейчас эта фотография хранится в архиве Литературного музея Алексея Максимовича Горького. А билет члена Союза писателей был вручен грузинскому поэту Алексею Гомиашвили, на нем стоит дата: 1934 год и подпись: М. Горький.

Седовласый владыка здешних гор Казбек, воспетый Венуолисом в «Заколдованных монахах», предстал перед нами, едва мы въехали под вечер в Казбеги. В горах темнеет быстро, величественная вершина была объята ночным покоем, мирным дыханием снегов. Одинокие тучки, проплывавшие над горами, не засло-



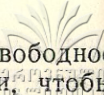
няли месяца, все вокруг было залито его бледным студеным светом — таинственно, завораживающе мерцала в вечерней мгле корона над могучей вершиной. Склоны сплошь усевали белесые клочья тумана, они с медлительной тягучестью скатывались вниз, казалось, вот-вот появятся из вечерних сумерек тени монахов, оживут и станут взбираться по отвесным скалам ввысь... И вновь пробуждались детские воспоминания, тревожащие сердце. Забытые слова, сны, мечты. Казбек звал к себе, манил своими чарами, хотелось слиться с природой, с вечностью. Отринуть все мелкое, ненужное, ненастоящее. Все, что мешает человеку быть самим собой. Как будто открывается вдруг смысл человеческого назначения...

Когда занимается утро, горы особенно хороши. Вдали у тебя на глазах гаснут созвездия. Первые лучи солнца пробиваются сквозь облака и утреннюю дымку, окрашивая розовато-алым цветом вершины гор, девственно чистые снега. А белесые клочки тумана, словно по мановению волшебной палочки, оживают, начинают двигаться, катиться, сползать вниз по склонам. Там, в ущельях, в горных расщелинах эти легкие подвижные комочки замрут, затаятся до вечера. Восход солнца пробуждает ото сна и всю горную свиту Казбека, спадает мгlistый покров, обнажаются голубые хребты, вызолоченные первыми лучами.

Казбек горделиво взирает на взметнувшуюся ввысь гору Цминда Самеба, на ее вершине — храм с таким же названием. Это его назвал Венуолис в «Заколдованных монахах» «старым могущественным монастырем святой Нины». И добавил, что когда выпадал в горах снег, «монахи на долгие девять месяцев были оторваны от всего мира».

Вот мы как раз и прибыли сюда в такое время. Осмотреть памятник архитектуры тринадцатого века так и не удалось, единственная узкая извилистая тропа местами обледенела, местами была занесена снегом.

Не мешает припомнить, что в юности Венуолис был заправским верхолазом. На Цминда Самеба взбирался пять раз, последний — когда ему уже было шестьдесят девять. В 1951 году. Впрочем, чему тут удивляться? Горы влекли его с юных дней. Живя в Тиф-




лисе, позже — во Владикавказе, писатель в свободное время часто приезжал с друзьями в Казбеги, чтобы побродить по горам. Об этом не раз он рассказывал Миколасу Слуцкису.

— В горы отправлялись из Тифлиса с вечера. У подножия есть такое маленькое селение — Казбеги. Ночевали в сакле, а на заре начинали восхождение. Выбирались целой группой, обвязавшись веревками, прихватив запас еды на неделю. Налетит буран, преградит путь снежный обвал — пропадешь без тепла и пищи...

В третьем томе «Истории литовской литературы» отмечается, что толчком к созданию легенд для Веноулиса явилось общение с природой Кавказа. Наверное, это так, спору нет. Однако не следует, пожалуй, забывать и о фольклоре, о всех тех рассказах, которые довелось литовскому писателю услышать... «Я написал «Кавказские легенды» лишь тогда, когда побродил по горам и ущельям, когда в мое сознание на все времена вошли кавказские предания...» — писал Антанас Веноулис.

В Казбеги мы повстречали человека, который считает, что именно его дед рассказал Веноулису легенду о монахах, потому что она бытовала именно в их селении Гегети. Сейчас Арчилу Кистаури уже семьдесят семь, а когда-то, много-много лет назад, среди хевсуров не было лучшего знатока народных преданий, песен, сказок, чем его дед, замечательный был сказитель, славился в здешних местах, всякий его знал. Встречались они и с Антанасом Веноулисом. Писатель часто бывал в Гегети, ночевал в сакле Кистаури, слушал его удивительные рассказы о старине. Да и не случайно забредшим сюда путникам местные жители испокон веков показывают окаменевших исполинов на склоне горы Сапцети.

Незаметно пробежали два дня. Пора была возвращаться в Тбилиси, оттуда мы должны были отправиться в Кахети. Хотелось пройти всеми дорогами литовского писателя здесь, на Кавказе... Стали ломать головы, чем добираться до столицы. Конечно, можно было опять воспользоваться самолетом, но это означает, что от мечты придется отказаться вовсе. А так важно было пройти пешком или проехать на машине по Военно-



Грузинской дороге, побывать на Крестовом перевале! И что же вы думаете?! Везти нас вызвался сам начальник районной милиции, веселый, общительный, жизнерадостный, на редкость обаятельный мужчина, которому к тому же и решительности не занимать, по имени Гамлет и его помощник по делам автоинспекции Бадри. С такими водителями можно было смело отправляться хоть на край света.

Горы встретили нас торжественным молчанием. Воздух чист и прозрачен. Меж скал прокладывают себе каменистое русло горные ручейки, внизу ярится, бешено ревет Терек. Со всех сторон надвигаются горы, одна выше другой, носится по ущельям ветер, свищет, воет.

С непривычки кружится голова от такой «вертикальной» езды, особенно на крутых поворотах, дорога петляет, кружит, уносится ввысь и опять спускается вниз, чтобы через мгновение устремиться в поднебесье. Несколько головокружительных виражей — и вот перед глазами возникает отвесная скала с черным крестом на вершине. Установлен он здесь давно, еще в 1824 году, в память о тех, кто сражался со стихией и погиб. «Когда мы совершали переход через Крестовый перевал, дохнуло холодом от покрытых снегом гор, которые здесь, вблизи, не кажутся такими высокими, как издали, подул ветер и на нас обрушилась зима.» — писал Антанас Венуолис в своих путевых заметках «Кавказ» в 1951 году. Как тут не вспомнить эти слова: мы выехали из Тбилиси ясным солнечным днем; а тут, в горах, властвовала суровая, не ведающая пощады зима, зато стоило спуститься в Кайшаурскую долину, воспетую Лермонтовым, — как сразу повеяло югом, теплом. И это несмотря на то, что осень на исходе; придорожные деревья сбросили листву, обнажились, трава пожухла, сникла, холмы выбелены изморозью, кое-где зияют проплешины.

Путь до Тбилиси неблизкий. Мимо проносятся селения, маленькие городки; в одном из них делаем остановку. Это — Пасанаури, сюда приезжал Антанас Венуолис «полюбоваться на слияние Белой и Черной Арагви и подивиться сказочной красоте Гудамакарского ущелья». Из Пасанаури дорога лежит через древнюю столицу Грузии — Мухету, через знаменитый

«Мцыри». На берегу Куры высится монастырь Джвари, возведенный здесь, на вершине скалы, еще в VI веке. Это один из удивительнейших архитектурных памятников Грузии. Помните, у Михаила Юрьевича Лермонтова: «...там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь». Именно Джвари и вдохновил русского поэта на создание поэмы о непокорном монахе.

Поэма «Мцыри» с юности была одним из самых любимых произведений Антанаса Венуолиса. «Приехал погрузить в монастырь Мцыри на могиле монаха-бунтаря, поглядеть на места, памятные мне еще с гимназических времен...» — читаем во «Встречах на Кавказе».

Переполненные впечатлениями, мы вернулись в Тбилиси притихшие, сосредоточенные. Впереди ждала еще одна поездка. Опять дорогами Венуолиса.


Светило солнце, еще щедрое на тепло, под ногами шуршали рыжие с золотистыми прожилками листья. Над головами плыл мирный уличный гомон. Но какая-то томящая печаль не отпускала душу. Воображение тревожили далекий Казбек, окруженный величественной своей свитой, вечный музыкант на вершине скалы со скрипкой в руках, ненасытные монахи с мешками золота, карабкающиеся по отвесным, крутым горам... И музыка, музыка гор! Услышанная странным образом в детстве, в краю, где колосились поля, сочные травы всходили на равнинах, спокойно, неторопливо несли свои воды тихие реки, дурманяще пахли сосны и ели — и никаких гор не было и в помине. Зато были длинные вечера с книгами, с наплывающей за окном темью, с ожиданием чудес и далеких путешествий, с мечтой о прекрасном Кавказе.

Хорошая выдалась в этом году осень!

ЮРГИС БАЛТРУШАЙ- ТИС В ГРУЗИИ

ВСЕ началось со стихотворения Тициана Табидзе «Встреча с Бальмонтом».

Заинтриговал сам сюжет: Константин Бальмонт создает друзей, поэтов Максимилиана Волошина, Юргиса Балтрушайтиса, Тициана Табидзе и читает им от-



рывки из своего перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре» («Вот Балтрушайтис слушает молча, гладит Волошин львиную гриву...»). Прошло еще несколько дней, и я понял, что меня неотвязно преследует желание разузнать как можно больше о связях Балтрушайтиса с Грузией. Поиск решил начать по совету товарищей с поэта Йонаса Грайчюнаса, как-никак он родился на Кавказе, переводил Руставели на литовский, до сих пор крепкие нити протянуты из его отчего дома в этот гористый, солнечный край. Сказано --- сделано, написал письмо, стал ждать ответа.

И вот ответ пришел. Грайчюнас написал, что, бывая в Грузии в разное время, слышал от местных жителей, что сюда частенько наезжал поэт Юргис Балтрушайтис, гостил у своих грузинских друзей, но никаких подробностей он, к сожалению, сообщить не может, возможно, следует обратиться к Нине Константиновне Бальмонт, дочери известного русского поэта. В письме был указан московский адрес Н. Бруни-Бальмонт.

Отступить от своей цели я не собирался. Тут же сел за письмо. И опять неудача — от Нины Константиновны никаких сведений о Балтрушайтисе я не получил. Засел в библиотеках, поднял подшивки газет, журналов, выходящих в Грузии, и — о радость! — на глаза попала статья Валентины Балуашвили о дружбе Т. Табидзе с К. Бальмонтом, в которой упоминался и Ю. Балтрушайтис. Кстати, речь о том самом эпизоде, что лег в основу стихотворения Тициана Табидзе и что упоминается в одном из писем грузинского поэта, где описана эта поездка на дачу к К. Бальмонту.

Честно признаюсь, статья не только обрадовала меня, но и придавала смелости.

— Пришло время отправляться в Грузию,— сказал я себе.

И вот в один из солнечных дней поздней осени я оказался в Тбилиси. Не мудрствуя долго, решил разыскать автора понравившейся статьи — профессора Валентину Балуашвили. Вдруг от нее узнаю что-то новое. Не успели мы толком побеседовать, как Балуашвили вызвалась свести меня с дочерью Т. Табидзе Танит, сама она долгое время общалась достаточно близко с вдовой грузинского поэта и многими важными

сведениями, например, о Константине Бальмонте, обязана именно ей.

Готовность моей собеседницы помочь, ее приветливость, расположенность невольно заставляли думать о грузинском гостеприимстве, особом южном темпераменте.

— Давайте не откладывать дела в долгий ящик. Позвоним, договоримся, и у вас будет возможность повидаться с человеком, который непременно доставит вам несколько приятных минут, вот увидите. Вдруг Таниннит вспомнит что-то важное...

Встреча наша с Таниннит Табидзе-Андриадзе была и впрямь недолгой, но очень сердечной. К тому времени я уже стал понимать, что на пути любых разысканий тебя могут подстерегать разного рода неожиданности, препятствия, разочарования, что обстоятельства не всегда складываются так, как хотелось бы, что в заговор против тебя могут вступать и время, и пространство. Как я рвался на эту встречу, вынашивал планы, думал — наконец-то мои поиски увенчаются успехом, а сложилось все по-другому. Да, Таниннит помнила имя Юргиса с детства, так отец звал Балтрушайтиса. Они были друзьями, часто встречались. Отец восхищался его философской лирикой, знал наизусть много стихов, случалось, читал их матери и маленькой Таниннит. Дорожил его мнением... Ну а больше ничего рассказать о той далекой поре Таниннит не смогла. Круг замкнулся.

Расстроенный, я возвратился в гостиницу и принялся размышлять о собственной незадачливости. Но потом оборвал сетования самым решительным образом:

— А разве ты рассчитывал на легкий успех? Нет, брат, если не способен довести до конца начатое дело — грош цена всем твоим начинаниям!

Мужское суровое слово, кажется, в тот раз возымело действие. Я собрался с мыслями и наметил следующий план: надо обратиться в Союз писателей Грузии, поговорить с кем-нибудь из представителей старшего поколения, вдруг отыщется какая-нибудь забытая тропка... Наутро уже стоял перед классиком грузинской литературы Константи́не Гамсахурдиа, автором известных исторических романов «Давид Строитель», «Десница великого мастера». О нем я много

слышал от наших литовских писателей П. Цвирки, А. Ветуолиса-Жукаускаса, Ю. Паукштялиса. Помнилось хорошо, как Пятрас Цвирка, вернувшись из путешествия по Грузии в 1947 году, с восторгом говорил о том, что ему удалось познакомиться с этим мастером слова и что тот удивил его обширными знаниями истории, культуры Литвы. Те же впечатления вынес и Юозас Паукштялис, который написал об этой поездке в своей книге «Путешествие по Закавказью», увидевшей свет в 1948 году. То есть по горячим следам. Итак, как бы заручившись мнением этих людей, я предстал пред очи грузинского классика. Что он скажет, что посоветует?

Уже немолодой человек интеллигентной наружности, живой, быстрый, внимательно оглядел меня и обратился с дружеским приветствием:

— Рад приветствовать в вашем лице литовских писателей, рад нашему знакомству. Много слышал об этом озерном крае, даже побывал дважды. Что привело вас сюда?

Выслушав мои сбивчивые пояснения, тут же предложил поехать на машине с ним в Мцхету, осмотреть памятники старины.

— По дороге и поговорим, — заключил свое приглашение Гамсахурдиа.

Оставалось только поблагодарить за радушие и отправиться в столь неожиданное путешествие.

— Да, мне привелось быть близко знакомым с Томасом Манном, Максимом Горьким, Ованесом Туманяном, Валерием Брюсовым, Юргисом Балтрушайтисом. Видите, какие все люди... Счастье — сходить с такими людьми, водить дружбу, přátельствовать. Просто видеть их. Что касается поэзии Балтрушайтиса, она была популярна не только в России, но и в Грузии в начале нашего века, — повел свой рассказ Константин Гамсахурдиа. — Его стихи и в «Северных цветах», и в «Весак», журналах того времени, можно было встретить довольно часто. Символисты только-только входили у нас в моду. Блок, Белый, Брюсов, Балтрушайтис — это поэты, которых читали больше других. Мечту свидеться с Юргисом Балтрушайтисом я лелеял давно. А познакомился с ним где-то в 1916 или даже в начале 1917 года. Многое, наверное, померкло в

памяти, затерялось в толще времени, но главное ощущение от этого знакомства осталось — какая-то светозарность, что ли... Трогало, что он хорошо знал грузинскую литературу, интересовался культурой Грузии, Закавказья. Живой интерес представителя одной культуры к другой — это, знаете ли, всегда похвально... Узы братства, родства — что может быть прекраснее... И мудрее...

Долго говорили мы в тот день о Юргисе Балтрушайтисе, о литературе, о жизни. На прощание Гамсахурдиа надоумил меня повидаться с Александром Кутатели, дескать, если я решил разузнать о связях Юргиса Балтрушайтиса с Грузией, обязан использовать любую возможность, любой повод для знакомства с людьми, хоть чуть-чуть знавшими поэта. Только тогда представление мое и о Балтрушайтисе, и об этом крае будет полным. Окрыленный первым успехом, я с радостью ринулся в дальнейшие разыскания.

Александр Кутатели, стройный, поджарый, встретил меня дружелюбно. Спустя некоторое время мы уже говорили как давние друзья. Писатель тепло вспоминал Антанаса Венуолиса, Миколаса Слуцкиса и других. Мне же не терпелось услышать что-нибудь о Балтрушайтисе.

— А вы были знакомы с Юргисом Балтрушайтисом?

— Нет, не был.

— ?!

— Не был, но один раз в жизни довелось видеть его, — словно для моего успокоения добавил Кутатели.

— Где это случилось? — воскликнул я.

— Здесь... в Тбилиси, — медленно, будто взвешивая каждое слово, произнес писатель.

Вот когда в памяти ожили строки из письма Грайчюнаса.

— Произошло это в конце 1916 года. Я тогда был еще гимназистом, — продолжал Кутатели, — как и многие мои товарищи, восхищался поэтами-символистами. Знаком был с творчеством Балтрушайтиса. Однажды по Тбилиси разнеслась весть, что приехал Юргис Балтрушайтис и что в городском собрании, то есть в нынешнем здании театра Руставели, состоится вечер

поэзии. Зал заполнили до отказа, а когда поэт появился на сцене, все принялись рукоплескать ему. Поэта представлял Тициан Табидзе, был здесь в тот вечер и поэт Яшвили. Помню, как вдохновенно говорил о творчестве Балтрушайтиса Табидзе, как ликовали все, слушая самого Юргиса Балтрушайтиса... Незабываемые впечатления... Видите, до сих пор помнится живо, а ведь столько минуло лет... На всю жизнь отложилась эта встреча, — закончил Александр Кутатели.

Прошло еще несколько дней. И вот как-то поутру в номере залился телефонный звонок. Поднял трубку и услышал голос моей новой знакомой Валентины Балуашвили. Она спрашивала о моих делах, продвинулся ли я в своих поисках.

— А я поберегла для вас еще одну встречу. Знаете, надо вам повидать поэта Колау Надирадзе. В начале века он жил и учился в Москве. Вместе с Табидзе и Гаприндашвили являлся одним из основателей «Голубых рогов». Так называлась группа молодых грузинских поэтов символического направления. Течение русских символистов оказало на них большое влияние, может, были какие-нибудь личные контакты?

В тот же день я попытался связаться с поэтом, вдруг и в самом деле ему приходилось общаться с Балтрушайтисом! Со встречей не повезло. Надирадзе был болен и давно не поднимался с постели. Принять меня, к сожалению, не смог. Однако спустя пару дней раздался звонок. Узнав от домашних, что его разыскивал какой-то литовский товарищ, интересующийся связями Балтрушайтиса с Грузией, К. Надирадзе счел своим долгом поговорить с ним хотя бы по телефону. Таким было вступление нашей телефонной беседы. Вот что рассказал мне поэт.

— В 1912—1916 годах я изучал право в Московском университете. Очень интересовался литературой, сам писал стихи. Здесь в это время жили многие грузинские молодые поэты и писатели. Тициан Табидзе, например, учился на филологическом факультете того же университета. Мы все дружили, часто собирались, читали друг другу свои стихи. Спорили, конечно. Очень близки нам были русские символисты. Боготворили Балтрушайтиса, заучивали наизусть. Мы хорошо знали Константина Дмитриевича Бальмонта, бывали у не-

го в гостях, именно там, на квартире Бальмонта, и состоялось мое знакомство с Юргисом Балтрушайтисом. Удивительного обаяния был человек! Потрясал своей эрудицией. И всегда мил, прост, дружелюбен в общении. Поначалу нам даже показалось, что поэт слишком робок, тих, замкнут. Но, сойдясь с ним теснее, поняли всю поспешность таких суждений. Беззаветно преданный литературе, искусству, он жил ими, поэтому становился горяч в разговоре на близкую ему тему, а от светской болтовни просто уходил. Отмалчивался. Помню, как-то выпало принимать участие в поэтическом вечере, на котором Бальмонт читал свой перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Были там и Тициан, и Балтрушайтис. В то время в Москве учредили общество, которое занималось расширением русско-грузинских связей, оно так и именовалось, помнится, «Московское общество грузинской науки, искусства и литературы». С этой целью устраивались музыкальные и литературные вечера, встречи. Душой общества был известный артист, режиссер Малого театра Сумбатов-Южин, точнее, Сумбаташвили. Вот в декабре 1915 года и состоялся этот вечер в зале бывшего дворянского собрания.

От К. Надирадзе я узнал, что Юргис Балтрушайтис был частым гостем таких вечеров, активно сотрудничал с этим обществом.

Штрих за штрихом, и кажется, черты поэта стали проступать на полотне, сказал я себе после телефонного разговора с Колау Надирадзе.

Позже я натолкнулся на воспоминания писателя Серго Клдншвили о той московской поре. Его рассказ совпадал с рассказом Надирадзе.

«В 1915 году довелось встретиться с Юргисом Балтрушайтисом и пожать ему руку на одном из вечеров, организованном Грузинским обществом в Москве, в доме на Поварской улице. Здесь же присутствовали К. Бальмонт, А. Сумбатов-Южин, композитор Дм. Аракишвили. И, конечно, мы, молодежь, во главе с Т. Табидзе. Теперь уже не припоминаю, по какому поводу был устроен вечер — в честь Руставели или по случаю праздника — дня святой Нины. Мы, грузины, всегда отмечали его 14 января по старому стилю (Нина в IV веке вводила в Грузии христианство...)»

Уже вернувшись в Вильнюс, я опять засел за книги и у Т. Табидзе нашел подробное описание вечера в честь Шота Руставели в его книге «Статьи. Очерки. Воспоминания». Там же узнал, что К. Бальмонт и Ю. Балтрушайтис собирались перевести такого поэта, как Важа Пшавела. В поисках источников просмотрел огромное количество всякого рода изданий, то там, то здесь встречалось упоминание о сыне поэта, тоже Юргисе Балтрушайтисе. Искусствовед по профессии, он учился в Париже в знаменитой Сорбонне, а в 1933—1939 годах преподавал историю искусства на гуманитарном отделении Каунасского университета. Написал «Всеобщую историю искусства» на литовском языке, эти два тома вышли под редакцией Винцаса Кревемицкявичюса. В 1928—1929 годы сын поэта дважды предпринимал длительные путешествия по Армении и Грузии, где изучал древние архитектурные памятники. Известен его труд «Архитектурные памятники старины Армении и Грузии», о котором высоко отзывались многие искусствоведы, в том числе и профессор Вахтауг Беридзе.

С В. Беридзе мне довелось общаться лично. Свел меня с ним С. Цуладзе, медик, ученый, а также поэт-переводчик, переехавший на родину из Франции. Его перевод Руставели на французский язык произвел в Париже фурор, за переложение поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на французский язык он был удостоен премии Французской академии. Так вот, Вахтауг Беридзе еще в юности заинтересовался литовской культурой, М. К. Чюрленис стал одним из любимейших художников, довелось ему встречаться и с А. Венуолисом, и, будучи от природы человеком страстным, увлекающимся, он попытался установить некоторые «живые связи» семьи Балтрушайтисов с Грузией. Надо сказать, ему посчастливилось разыскать человека, который сопровождал Юргиса Балтрушайтиса-сына в его поездке по Грузии, был хорошо знаком с отцом, поэтом Ю. Балтрушайтисом. Имя его — Шалва Амиранашвили.

Я встретился с ним и подробно порасспросил его о тех далеких встречах.

— С поэтом Юргисом Балтрушайтисом познакомились мы случайно, не то в 1929 году, не то в 1930-м,

точно уже не помню. Он был послом в Москве, представлял буржуазную Литву. А знакомство состоялось при следующих обстоятельствах. На мое имя пришло письмо из Парижа от одного моего коллеги, в котором он писал, что его ученик, талантливый искусствовед Юргис Балтрушайтис серьезно изучает романское искусство и хотел бы побывать в Грузии, чтобы проследить истоки влияния этого стиля на архитектуру Востока. Согласен ли я взять его под свою опеку? Я с радостью откликнулся на эту просьбу. Ю. Балтрушайтис прибыл к нам, если не путаю, в 1928 году, и мы путешествовали с ним по Грузии и Армении больше двух месяцев... Он был первым европейским ученым, оценившим все значение архитектурных памятников Грузии. Что и говорить, путешествие нас сблизило, мы подружились. Потом переписывались. Как-то Балтрушайтис попросил меня приобрести несколько книг по искусству. Договорились, что передам их через его отца, отнесу прямо в литовское посольство в Москве. Так и сделал. Передав посылку, уже собирался было откланяться, но Балтрушайтис-старший пригласил меня отобедать с ним. Тогда-то, кстати, и состоялось мое знакомство с композитором Сергеем Прокофьевым, он был давним другом поэта. Мы все трое много говорили о Грузии, Юргис Балтрушайтис расспрашивал о своем друге Котэ Марджанишвили, который в это время жил и работал в Тбилиси, Балтрушайтис сказал, что очарован поэмой «Витязь в тигровой шкуре», что это шедевр мировой литературы, признался, что стал писать стихи на литовском языке и тайно мечтает когда-нибудь перевести Руставели, у него уже, дескать, есть подстрочник...

Рассказ Ш. Амиранашвили натолкнул меня на мысль поинтересоваться дружественными связями Ю. Балтрушайтиса с К. Марджанишвили. Ведь писал же сам поэт в «Автобиографических сведениях»: «...Я всегда поддерживал тесную связь со Свободным московским театром, которым руководил К. Марджанов...» Свою театральную карьеру этот известный режиссер начинал на провинциальных подмостках, затем ставил ряд спектаклей в таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Иркутск, Рига. В 1911 году судьба свела его с Московским художественным театром, где совместно

с К. Станиславским, Л. Сулержицким и прославленным английским режиссером Эдуардом Гордоном Крегом им был поставлен «Гамлет». К. Марджанишвили высоко ценил талант Юргиса Балтрушайтиса, и когда в 1913 году возглавил новый, так называемый «синтетический» Свободный театр, пригласил поэта заведовать литературной частью.

С большим рвением принялся я изучать всевозможные материалы: воспоминания современников, театральные рецензии, статьи, заметки и высказывания людей искусства. Обращался к тем, кто, по моему разумению, мог помнить какие-либо подробности этой дружбы. По крохам собирал свидетельства жизни двух больших художников эпохи.

В тбилисском театре имени Руставели нашел режиссера Серго Челидзе, с которым, честно признаться, связывал особые надежды, и, с трудом дождавшись перерыва — передышки между репетициями, набросился на него с вопросами. Увы, Серго Челидзе знал о Ю. Балтрушайтисе очень немного.

— Бывая в доме Марджанишвили, я часто слышал это имя. Его здесь произносили, если хотите, с обожанием. И, конечно, очень уважительно. Это все, что помню. — Челидзе как-то испытующе посмотрел на меня и неожиданно спросил: — Кстати, блокнот у вас имеется?

— Есть записная книжка.

— Тогда записывайте, — его пронзительные черные глаза на миг странным образом высветлились, взгляд потеплел, даже морщин вроде стало меньше. — Записывайте, записывайте, не мешкайте! У меня репетиция. Итак, драматический театр имени Марджанишвили. Варвара Гамрекели. Разыщите и поговорите с нею. Думаю, кое-что она вам расскажет...

Он стремительно развернулся и двинулся скорым шагом по коридору. В зал, где на сцене уже собрались актеры.

Заслуженную артистку Грузинской ССР Варвару Гамрекели я встретил в фойе театра, когда она направлялась в зал, вернее, в один из залов. Надо заметить, театр этот особый, с мемориальным музеем К. Марджанишвили, с несколькими залами. Представившись, как

положено, я тут же перешел к делу — видно, под впечатлением динамичной, сверхскоростной манеры Серго Челидзе. И с первых же слов понял: Варвара Гамрекели — именно тот человек, который может пролить свет на многие моменты в отношениях интересующих меня людей. Тем более, что рассказывала она с большой охотой.

— Мне выпало пройти с новым Свободным театром тогда в Москве весь путь — от дня его открытия и до последнего мгновения. Да, работать довелось вместе с Котэ Марджанишвили и Юргисом Балтрушайтисом. Ну что сказать о Балтрушайтисе?.. Человек он был не шумный, не из тех, кто рвется вперед, стремится быть всегда на виду. Скорее наоборот: молчаливый, сдержанный. И очень чуткий, тактичный, тонкий, деликатный, готовый в любую минуту прийти на помощь. Поверьте, эти слова подходят для выражения сути характера его, поэтому хотелось набрать — как можно больше эпитетов. Не обессудьте. Держался несколько в тени, но все мы знали и ценили его ум, его эрудицию. Он был поэт. Марджанишвили всегда считался с его мнением и вкусом. Конечно, они были люди разного темперамента. Марджанишвили — прямой, горячий, бурный, из него ключом били всякие идеи, замыслы, планы, желания. Балтрушайтис же — весь в себе, сосредоточенный, вдумчивый, спокойный внешне. Но они дружили. И, по-моему, очень были привязаны друг к другу. Что их роднило? Творчество. Творческий непокой. Любовь к искусству. Одержимость. Готовность к поиску.

В. Гамрекели умолкла, задумчиво глядя вдаль, будто собиралась с мыслями. Потом продолжила:

— И знаете, Юргис Балтрушайтис очень интересно выступал на обсуждениях постановок. Как-то всеохватно. Говорил не только по поводу художественных особенностей пьесы, но и тонко подмечал актерские находки или, наоборот, просчеты. Помню, как пригодились его советы во время работы над мелодрамой Альфонса Доде «Арлетта». Сам перевел ее для нас. Разбирался в музыке, мы все с восхищением слушали его суждения о Бизе, эта музыка была использована в нашем спектакле. Когда Таиров ставил пантомиму

Шницлера «Покрывало Пьеретты», а это была серьезная проба сил всего коллектива, Балтрушайтис с головой ушел в работу, даже написал пролог в стихах для таировского эксперимента. Видите, какое это было содружество. Прекрасное!

Такой вот час вдохновенного общения подарила мне эта женщина, актриса Варвара Гамрекели. Оживила, воссоздала образы талантливых людей, преданных своему делу, искусству, времени. Я возвращался в Вильнюс с ощущением удивительного везения. И светлой грусти. Надо сказать, везение и дальше не покидало меня — сразу же в руки попался журнал «Театр» с мемуарами Алисы Коонен. И опять нахожу упоминание о Балтрушайтисе...

«Когда два первых действия были готовы, состоялся прогон «Пьеретты». Таиров пригласил на просмотр Марджанишвили и Балтрушайтиса. Спектакль произвел на них хорошее впечатление. Константин Александрович (Марджанишвили — И. С.) был взволнован, и тут же возникла идея устроить общественный просмотр, пригласить известных художников, писателей, композиторов, критиков. Собралась избранная публика. Балтрушайтис привел Бальмонта, Брюсова...»

Нет, не оборвалась еще нить, тянется, длится во времени и пространстве, дразнит...

В 1920 году Юргис Балтрушайтис получил новое назначение — стал послом Литвы в Советской России. К. Марджанишвили как раз в это время вернулся в Грузию и возглавил драматический театр имени Руставели. Встречались ли они еще когда-нибудь? Вряд ли удастся найти человека, который смог бы дать точный ответ на этот вопрос, убеждал я себя, опасаясь дальнейших разочарований. Но недаром родилось во мне ощущение везучести — такой человек, представьте, нашелся! А было так...

Кто-то из грузинских приятелей посоветовал мне поговорить с И. Кавжарадзе.

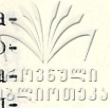
— У нас в Союзе писателей бытует присказка: «Чего не знаешь — спроси у Иродиона». Кстати, это чистая правда.

— Гм, — задумался на миг Иродион Кавжарадзе. — Ясно. Вам надо поговорить с Бесо Жгенти. Он у

нас секретарь Союза. Кажется, когда-то знал Марджанишвили и Балтрушайтиса... К тому же работал в театре...

Немолодой, много повидавший на своем веку, известный на всю страну писатель, Б. Жгенти не на шутку разволновался.

— Знаете, как-никак это путешествие в юность. Да. Было это в тридцатом году. Я, тогда начинающий театральный критик, работал в театре у Марджанишвили, заведовал литературной частью. — Бесо Жгенти глубоко вздохнул. — Мы как раз гастролировали в Москве. Это был дебют грузинского театра на столичной сцене. Москвичи очень тепло нас встретили, Марджанишвили знали и любили. Гастроли вылились в подлинный праздник грузинского искусства. Кто только не перебивал на наших спектаклях! Пожалуй, в зале можно было увидеть всех знаменитостей Москвы. Как-то гляжу, едва опустился занавес после первого действия, а наш режиссер обнял за плечи какого-то мужчину и с громкими восклицаниями ведет его к себе. В свой временный кабинет. Заметив меня, помахал призывно рукой, дескать, заходи. Я, конечно, не заставил себя ждать, двинулся за ними следом. «Знакомься, Бесо, это мой большой друг, поэт Юргис Балтрушайтис», — представил гостя. Стихи Балтрушайтиса я читал. Слышал о нем от Тициана Табидзе и Паоло Яшвили, да и от самого Марджанишвили. Что касается последнего, тот просто обожал Балтрушайтиса, всегда с восторгом вспоминал совместную работу. Он вообще был от природы человеком восторженным, сердечным, гостеприимным. Вот и в тот день заранее позаботился об угощении, в кабинете стоял накрытый стол, хотел попотчевать гостей национальными грузинскими блюдами. Настроение, конечно, приподнятое. Балтрушайтис сразу стал расспрашивать о Грузии, о знакомых писателях, о театре. Но тут пришлось прерваться и вернуться в зал. После окончания спектакля все опять собрались у Марджанишвили — разговорам не было конца. Чувствовалось, что Марджанишвили и Балтрушайтис соскучились друг по другу. Даже в голосе слышалась какая-то нежность. Знаете, как это бывает у мужчин. Сдержанная нежность, я бы сказал. Пока шли гастроли, виделись мы с Балтрушайтисом еже-



дневно. Он забегал к Марджанишвили, чтобы поздравить его с успехом после очередного спектакля, и, конечно, Марджанишвили его уже не отпускал. Затева-лась беседа... Я тоже принимал участие в этих дол-гих разговорах, и, надо сказать, меня поражали глу-бокие познания Балтрушайтиса в самых разных обла-стях. Знал он хорошо и грузинскую литературу, вос-хищался поэзией Николоза Бараташвили, Шота Руста-вели, любил Илью Чавчавадзе. Видите, сколько всего сохранила память, а вы говорите, не надо волноваться! Разве можно спокойно предаваться воспоминаниям, ко-гда речь идет о таких людях?! Все кипит, ищет выхо-да... И одновременно охватывает печаль... Ну, ладно, ладно, давайте лучше дальше вспоминать. Так вот, во время одной из таких бесед — спектакль к тому вре-мени уже закончился и мы, как всегда, собрались у Марджанишвили — раздается стук в дверь. И... в комнату входит Анатолий Васильевич Луначарский. Пришел поблагодарить за доставленное удовольствие и просидел с нами до поздней ночи. Я опять лишний раз убедился, насколько образован, эрудирован, умен Балтрушайтис, в разговоре с Луначарским он выгля-дел достойным собеседником. Еще я заметил, как ува-жительно, с интересом слушал Балтрушайтиса Анато-лий Васильевич, как внимательно следил за его мыс-лью. Зашла, кстати, речь и о переводе поэмы Руста-вели «Витязь в тигровой шкуре» на русский язык. Лу-начарский поддержал Балтрушайтиса в том, что на-стал срок для выхода с этой поэмой к русскому чита-телю. Вспоминается и еще одна встреча с Луначар-ским и Балтрушайтисом. Наши гастроли закончились, театр готовился к отъезду, по этому случаю собрались в кафе «Артистическое» в Столешниковом переулке на прощальный ужин. Присутствовали здесь многие из-вестные театральные деятели, актеры, художники, пи-сатели, критики, словом, весь цвет Москвы. И, конечно, Балтрушайтис. Насколько помню, он сидел рядом с Анатолием Васильевичем Луначарским. Видел, как они беседовали между собой. Даже долетали обрывки фраз. Говорили, видимо, в основном о грузинском те-атре, о литературе... До сих пор вижу их лица... Слы-шу голоса...

Здесь, пожалуй, пора поставить точку. Только вот

почему-то не хочется расставаться со всем тем, чем жил это время. С людьми, с их памятью, отзывчивостью, с их добротой и великодушием. С долгими бессонными ночами. С бдением за письменным столом. С походами по библиотекам. С поездками и ожиданием. С этой нескончаемой дорогой к Юргису Балтрушайтису. Поэту. Человеку. Хотя кто сказал, что с завершением рассказа обрывается наша связь с его героями?

Спускаюсь вниз по лестнице и достаю из почтового ящика письмо.

«Имя Балтрушайтиса мне очень дорого, поверьте. Ведь он из тех выдающихся поэтов, которые влияли тогда на нас, молодых, обогащали духовно. Такие поэты и люди не забываются. Они оставляют след в веках. Мне и сегодня очень приятно вспоминать о нем, говорить...»

Еще и еще раз пробегаю глазами строки из письма грузинского писателя Серго Квдиашвили. Нет, живая человеческая связь не рвется.

Перевела с литовского Наталья ВОРОБЬЕВА



«Да... Искусственное сердце вам не подойдет, с искусственным сердцем вам не прожить...» — говорит профессор Бачане Рамишвили — герою романа Нодара Думбадзе, писателю по профессии.

Сам Нодар Думбадзе, трижды перенеся инфаркт и будучи на пороге смерти, категорически отклонил предложение лечащих врачей о вживлении искусственных стимуляторов, не пожелав продлить себе жизнь подобным образом. Казалось, его даже несколько оскорбил разговор на эту тему, ибо жизнь с искусственным сердцем была для него непредставима. Очень скоро, буквально через несколько дней, он распрощался с этим миром.

«...С искусственным сердцем вам не прожить...» — эти простые слова выражают самое большое признание, какое только может заслужить писатель. И разве только писатель? Для каждого человека, какой бы профессии он ни был, подобные слова служат оправданием его существования. Даже самая короткая жизнь может быть прекрасной и оставить более глубокий, добрый след по себе, нежели иная долгая жизнь, которую и жизнью-то не на-

Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ

СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ СОЛНЦА

зовешь, взять хотя бы заместителя редактора из упомянутого романа.

Профессор, персонаж Нодара Думбадзе, ни в малейшей степени не думал принизить удивительнейшие достижения медицины. Слова — «с искусственным сердцем вам не прожить» — художественное, метафорическое выражение его мысли. «Искусственное сердце» употребляется здесь в качестве синонима холодного, нелюбящего сердца, и невозможно не поверить в извечный закон, так просто сформулированный гениальным грузинским поэтом Галактионом Табидзе:

Без любви
Солнце не царит на небосводе,
Ветер не веет, лес не трепещет
Радостно...
Без любви не существует
Ни красоты,
Ни бессмертия не существует
Без любви.

(Подстрочный перевод).

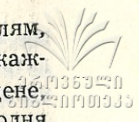
Да, все и вся, доброе и вечное отмечено печатью любви, возжено огнем любви, пронизано светом любви. И для этого необходимо биение горячего сердца. Человек с холодным, искусственным сердцем не может быть творцом прекрасного.

Проповедь любви бесплодна, если слово писателя идет не от сердца, если радость его — искусственна, если печаль его не выстрадана. Слово, произнесенное с невозмутимым, спокойным, ритмично бьющимся сердцем, считающимся идеальным для врача, отскочит от читателя, что горох от стенки, будь оно хоть трижды сверхблагородным и возвышенным.

У Нодара Думбадзе было не просто теплое, доброе, сочувствующее и любящее сердце, нет, сердце его было полно солнечного жара и света.

Он родился с солнечным сердцем.

Имя Нодара Думбадзе сегодня хорошо известно в Грузии и далеко за ее пределами. В каждой грузинской семье есть книги Нодара Думбадзе, истрепанные от постоянного чтения. Книги писателя — добрые, желанные гости и под кровом многих наших братьев, достойные посланцы грузинской литературы к иноземным народам. Они изданы во всех наших братских республиках и во всех социалистических странах, география их — все земные континенты, почти все страны мира.



Творчество писателя нашло путь не только к читателям, но и ко множеству зрителей. Чуть ли не каждый роман, каждый рассказ Нодара Думбадзе сразу же ставился на сцене, экранизировался, становясь достоянием миллионов. И сегодня по всей стране идут спектакли и демонстрируются фильмы, созданные по его прозаическим произведениям, несущие тепло и свет души грузинского писателя.

Писатель получал тысячи писем, поток которых не прерывается и после его смерти. «Благодаря вашим книгам в моей хате поселились тепло и веселье», — пишет писателю украинский колхозник. В этих строках, искренних и простых, проявились чувства, вызванные причащением к творчеству грузинского писателя. Подобные чувства владеют читателями повсюду — в России или на Украине, в Армении или в любой братской республике, в Японии или Америке, везде, где издавались книги писателя. Независимо от своего характера и национальности, люди не могут не ощутить душевного тепла писателя, полного доброты и любви, не проникнуться насквозь пронизанным глубокой верой в человеческое достоинство грустным юмором, не подпасть под обаяние его щедрого дарования...

В сердце и творчестве Нодара Думбадзе светило и продолжает светить солнце.

Силу воздействия творчества Нодара Думбадзе приписывают чему угодно: глубокой человечности и человеколюбию, нежности и доброте, юмору и народности, светлой вере и множеству других факторов. Перечень «секретов» писателя этим не исчерпывается и не может быть исчерпан, ибо обнаружение и выявление всех жизненных, питающих творчество писателя источников — дело долгое и трудное. Здесь можно отметить лишь то, что зачастую ослепленные сиянием его таланта, заряженные его чувствами, покоренные его юмором, мы мало задумываемся над тем, что все это обусловлено не только дарованным свыше большим сердцем и щедрым талантом, но и владением всеми тайнами профессионального мастерства.

Редко кому из грузинских писателей выпадала на долю такая популярность, какую обрел Нодар Думбадзе. Само собой разумеется, что в данном случае я имею в виду всеобщее признание действительных достоинств писателя. Одним из необходимых условий популярности писателя является его непосредственность и простота. Очарованные обманчивой простотой, мы невольно забываем, что лишь благодаря огромно-

му таланту и мастерству, а, точнее, их сочетанию, можно создать произведение, подобное глубокому и чистому колодцу, на дне которого отчетливо видны очертания и цвет камешков.

И одного таланта для этого недостаточно. Нужны труд, неустанный труд, глубокое постижение жизни и приобщение к опыту других. Все это можно сказать о творчестве Нодара Думбадзе, хотя по сей день нам не до конца известны истоки его литературных интересов, его тайные или явные учителя по писательскому мастерству.

При беглом взгляде на творчество Нодара Думбадзе можно отметить, что налицо большее или меньшее родство и перекличка душ, настроения, творческой манеры Нодара Думбадзе и мастеров грузинского фольклора, Давида Клдиашвили, Пиросмани, Диккенса и, как сказал бы один из его героев, отца вселенной — Сервантеса. При более пристальном рассмотрении можно заметить и многое другое, хотя верно и то, что зачастую даже наблюдательный глаз не в состоянии охватить все источники, которыми подсознательно питается творчество писателя. Однако и того, что очевидно и отмечено выше, вполне достаточно, чтобы утверждать: для отражения столь локального мира и достижения художественного его обобщения, какое мы находим в творчестве Нодара Думбадзе, недостаточно масштабов одной Грузии. Необходим гораздо более широкий кругозор.

Творчество Нодара Думбадзе в высшей степени грузинское не только отраженными в нем средой и характерами, стилем жизни и обычаями, всеми главными и неглавными художественными компонентами, но, что гораздо важнее, своими корнями, которыми оно связано с прошлой национальной культурой, и разветвленной кроной, уходящей в литературу будущего для передачи ей полученных в наследство от предков национального духа и символа веры.

Вся жизнь и творчество Нодара Думбадзе отданы любви к своему народу и стране. В этом нет ничего удивительного, ибо служить им было первейшей и святейшей заповедью писателя.

Причину успеха книг Нодара Думбадзе в родной стране легко понять в силу его ярко выраженного национального характера. Неменьший успех у других народов кое-кто, возможно, объяснит интересом к быту и характеру инонационального художественного мира. Что ж, не без того. Однако главное в том, что в этой инородной среде, художественном мире, населенном своими героями, читатель любой национальности

причащается к поразительно узнаваемым и близким переживаниям и раздумьям, ибо мир этот необычайно человечен и светел. Именно в таком обобщении, в умении подняться от национального до общечеловеческого, в глубинном оптимизме и гуманистической устремленности, воплощенных в эмоциональной, лирической форме, и таится ключ к успеху писателя.

Это удивительное свойство было присуще прозе Нодара Думбадзе изначально. В 1959 году на страницах нового молодежного журнала «Цискари» был опубликован первый роман писателя «Я, бабушка, Илико и Илларион». Тогда трудно было представить, что гуманизм со всей своей неодолимой силой может проявиться в таком бытовом произведении с лирической тональностью, что носителями его могут быть столь простые герои, как эта странная и прекрасная четверка.

Этим романом было положено начало не только новому художественному миру, но и новой тенденции, новому этапу в грузинской советской литературе. За первым романом следовали другие — «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Не бойся, мама!», «Белые флаги». Затем были опубликованы сборники рассказов, потом еще один роман — «Закон вечности» и, наконец, вновь рассказы. Так был создан тот неповторимый, обаятельный, заставляющий глубоко задуматься, необычайно эмоциональный мир, который зовется творчеством Нодара Думбадзе и без которого просто невозможно представить себе грузинскую литературу второй половины двадцатого века. И не только грузинскую. Все творчество писателя, от первой до последней строки, питает одна артерия, в которой сливаются национальный и интернациональный потоки.

Человеку всегда было свойственно жаловаться на быстротечность жизни. Потому и создал грузинский народ не просто слово, но художественный образ: «цутисопели» — это и мир, это и мгновенная жизнь. И счастлив тот, кто в этом стремительном течении, в этом круговороте жизни не утерял и не растратил отпущенный ему природой талант, кто с легкой душой может оглянуться пусть на быстро пролетевшую, но полнокровную жизнь.

Нодар Думбадзе не только с легкой душой, но и с огромной гордостью мог оглянуться на пройденный путь. Да и не только он, и мы можем гордиться прожитой им жизнью. Однако сам он был на редкость скромнен и робок в оценке собственных заслуг и таланта. Всем сердцем радовался он успеху, но вместе с тем как бы удивлялся ему. Та-

ким он был в начале своего творческого пути, таким остался до конца.

Словно это было вчера — актовъй зал Тбилисского университета гудел, когда на сцену поднимался худощавый, просто, а точнее бедно одетый (парусиновые туфли!) юноша со стеснительной и печальной улыбкой и тихим голосом читал свои стихи. Тогда, то есть в первые послевоенные годы, Нодар Думбадзе учился на экономическом факультете и был любимцем студенческой молодежи.

Постепенно росло творчество писателя, а вместе с ним и его популярность.

Его творческой биографии всего-навсего тридцать пять лет. Нодар Думбадзе рано ушел из жизни, но тридцать пять лет творческой жизни — не столь уж малый срок для писателя, тем более, что они прошли не даром, принеся ему всеобщее признание и любовь.


Начинал Нодар с лирических стихов, надо сказать, весьма обаятельных, многие из которых были положены на музыку. Позже он публикует в журнале «Нианги» искрящиеся остроумием юмористические рассказы. Но то, что зовется миром Нодара Думбадзе, границы коего столь явственно очерчены на литературной карте Грузии, и то, что привлекло к нему внимание его соотечественников и мирового читателя, было все же выражено художественной прозой и воплощено в шести романах и в одном-единственном сборнике рассказов.

На сотворение этого солнечного мира писателю потребовалось четверть века — 1959—1984 годы.

Жизнь и творчество Нодара Думбадзе без остатка посвящены служению родному народу и отчизне, великому делу коммунизма. Он был пламенным глашатаем человеческой доброты и благородства, справедливости и любви, коммунистических идей и морали. Его произведения — правдивая, волнующая и вместе с тем возвышенная художественная летопись современной грузинской жизни. Именно благодаря художественной правде, высокой идейности и удивительному обаянию его творчество покорило сердца многочисленных читателей.

Романы и рассказы писателя, в которых он с глубоким знанием и проникновенностью отобразил жизнь народа, его беззаветную борьбу за воплощение высоких идеалов, — лучшая духовная пища для современников и потомков, могучее средство формирования их гражданских и нравственных позиций.

Нодар Думбадзе являлся истинным образцом писателя



и гражданина. Именно поэтому литературная и общественная деятельность принесла ему всенародную любовь, признание и почет: он был секретарем правления Союза писателей СССР, председателем правления Союза писателей Грузии, лауреатом Ленинской премии, премий им. Шота Руставели и Ленинского комсомола, депутатом Верховного Совета СССР... Но прежде чем достичь высоты славы, признания, писатель прошел трудный и сложный жизненный путь.

Нодар Владимирович Думбадзе родился в Тбилиси 14 июля 1928 года в грузинской интеллигентной семье. Детство его было беззаботным — семейное тепло, книги, школа, друзья-товарищи. Однако безоблачная жизнь продолжалась недолго. Девяти лет от роду он потерял родителей — отца навсегда, встреча же с матерью волею судеб была отсрочена на долгие годы. За этим тяжелым испытанием вскоре последовала война, и осиротевший мальчик был вынужден провести отрочество в родной деревне Хидистави. Именно здесь, в прекрасной и благодатной Гурии, окруженный любовью трудолюбивых людей, Нодар Думбадзе ощутил, разделил и осознал человечность, непоколебимость и необоримость добра, веру в которое он пронес через всю жизнь. Это и определило в дальнейшем тематику и пафос его творчества.

Уже зрелым юношей он вновь возвратился в родной Тбилиси — пришла пора студенчества. Долго осваиваться в городе ему не пришлось, ибо он был «городским» парнем, к тому же верийцем — жителем самого популярного среди молодежи того времени квартала Верэ. После окончания экономического факультета Тбилисского государственного университета Нодар некоторое время работал лаборантом на кафедре экономики, затем сотрудничал в редакции молодежного журнала «Цискари», был членом сценарной коллегии киностудии «Грузия-фильм», заместителем редактора, а позже и главным редактором сатирического журнала «Нианги». Отсюда он перешел в Союз писателей, где работал сперва секретарем, а в последние годы председателем правления.

Несмотря на то, что жизнь Нодара Думбадзе складывалась счастливо, во всяком случае так казалось со стороны, трагические испытания постоянно выпадали на долю его и его семьи. Ему довелось пережить немало потерь, однако слова упрека в адрес судьбы никогда не срывались с его уст. Лишь однажды, помнится, после гибели мужа старшей дочери, он горько промолвил вслух: «Ужели судьбе никак не надоест

испытывать мое терпение: обрушивает мне на голову испытание за испытанием».

Нодар Думбадзе родился с солнечным сердцем, и никакие горести и лишения, выпавшие на его долю, не сумели не только погасить, но даже умерить его жара. Как знать, может быть именно они и обострили его чувства и в полной мере помогли осознать цену добра?

Одно очевидно: все и вся измерялось им главной мерой — силой добра. Однажды, когда во время телевизионной передачи интервьюер спросил Нодара Думбадзе: «Как вы думаете, какими качествами должен обладать интеллигент?», он несколько странно, на первый взгляд, ответил примерно так: «Образцом интеллигента мне представляется мой дед, живущий в деревне крестьянин». Здесь главное не в том, что с этим определением интеллигента можно поспорить, но в том, что для Нодара Думбадзе определяющим суть любой личности, группы людей, социального слоя или целого общества являлась в первую очередь именно способность сочувствовать и любить. Сам он и впрямь был воплощением истинной интеллигентности, и не только внешне, а по стилю жизни — воспитанный, сдержанный, образованный, благожелательный, истинный профессионал с широкими интересами и кругозором. Нодар Думбадзе прекрасно знал не только грузинскую, но и русскую и мировую классику, современную литературу. Он отлично понимал живопись, музыку (и сам прекрасно пел и рисовал), любил историю, философию... Впрочем, никогда не демонстрировал в своих произведениях незаурядных своих познаний, что, к сожалению, нередко делают и талантливые художники.

Из книг и из жизни он впитал в себя лишь любовь и уверовал только в любовь, и это несмотря на то, что в жизни ему довелось изведать немало зла. Именно потому в качестве главной метафоры, символа и даже персонажа своего творчества он избрал солнце.

Илья Чавчавадзе как-то сказал: человек должен выполнить свой долг перед страной и народом так, чтоб, рожденный с плачем, он ушел из этого мира с песней и смехом. Так, со смехом и песней, 14 сентября 1984 года ушел из жизни человек с солнечным сердцем. Думбадзевским юмором искрились его последние фразы, а перед самой смертью он с лукавой улыбкой подозвал к себе друзей, обнял их обессиленными руками и в последний раз спел вместе с ними. И не будь у нас магнитофонной записи этой песни, кто знает, мо-

жет быть, не только посторонние, но и мы, свидетели этого чуда, спустя годы усомнились бы в нем, сочтя его плодом нашей досужей фантазии.

В тот день над людским морем (на центральных улицах от Сололаки до Ваке было не пройти) светило удивительно яркое, но не знойное, а теплое, ласковое солнце. Оно проводило Нодара Думбадзе до самого «Мзиури» («Солнечного») — замечательного пионерского городка в ущелье реки Верэ, который был сооружен и назван так по инициативе самого Нодара Думбадзе. Есть нечто глубоко символичное в том, что именно сюда, в городок с солнечным названием, пришел на вечное жительство Нодар Думбадзе.

Жизнь каждого человека неповторима. Неповторимы и творческие пути писателей. Исключительным был приход в грузинскую литературу Нодара Думбадзе, исключительна вся его творческая биография.

Первым же своим романом он покориł сердца читателей «Когда меня приняли в Союз писателей, я был уже всеми признанным писателем», — говаривал Нодар. И в этом нет ни грама похвалы. Просто такова была манера его речи, впрочем, как и манера письма.

Литературный дебют Нодара Думбадзе был воистину счастливым, хотя не столь легким и безоблачным, как кажется со стороны. Сегодня немногие помнят, а может, и вовсе не знают, что начало большого творческого пути Нодара Думбадзе было довольно сложным. «Я, бабушка, Илико и Илларион», роман, исполненный глубокого драматизма, был напечатан петитом в журнале «Дискари» в разделе юмора, дескать, не принимайте всерьез, это развлекательное чтение.

Широко известны те огромные сдвиги в нашей общественной жизни, которые принесли с собой 50-е годы. Они вызвали коренное обновление во всех сферах, в том числе и в литературе и искусстве. Плоды его очевидны и весьма значительны для всей советской литературы. В грузинской литературе начало этому обновлению положили «дискаровцы» (так называют поколение литераторов, группировавшихся вокруг созданного в 1957 году молодежного журнала), одним из самых ярких представителей которых был Нодар Думбадзе.

Однако инерция старого в то время была еще сильна. Поэтому поколению «дискаровцев» приходилось преодолевать немало препятствий. Так, несмотря на небывалый успех у читателей думбадзевского романа, иные писатели и критики, неспособные отрешиться от конъюнктурно-демагогического под-

хода к художественному произведению, усмотрели в нем симптомы деградации грузинского романа, ссылаясь на его, якобы, несерьезность. Но читатели, здравый смысл, а затем и время все поставили на свои места. Сегодня художественный мир Нодара Думбадзе прочно утвердился в историческом процессе развития грузинской национальной культуры, в ее общей сокровищнице, в масштабе всей советской многонациональной литературы.

В своих романах Нодар Думбадзе постоянно обращается к проблемам нравственного формирования юноши, не изменяя излюбленной манере повествования — с грустным юмором делится с читателем пережитым и наболевшим. Иные в этой манере усматривали налет однообразия, говорилось и об излишней автобиографичности романов писателя. Формально, возможно, это и верно, но по существу дело обстоит совершенно иначе.

Большая часть писателей описывает жизнь своего поколения и времени. Немало крупных произведений написано на автобиографическом материале. Многие произведения подчеркнута автобиографичны. Но весь вопрос в том, какое художественное обобщение получает этот материал. Всеобщий интерес к творчеству Нодара Думбадзе естественно дал ответ на этот вопрос.

Да, верно, романы Нодара Думбадзе составляют единый цикл, и стиль их тоже един, однако это вовсе не значит, что они однообразны. Это скорее верность стилю, нежели однообразие. И разве мало образцов такой верности сохранила нам история литературы? Или разве кто-либо в современной мировой литературе отказался от этого, продиктованного верностью «однообразия»? Все упреки в адрес Нодара Думбадзе были беспочвенны. Это — его мир, это — его стиль, необычайно оригинальный, принадлежащий лишь Нодару Думбадзе.

Романы и рассказы Нодара Думбадзе пронизаны светом, но не потому, что писатель идилично смотрит на мир. Это от света его души, его веры и надежды, хотя он по преимуществу интересуется полными драматизма обстоятельствами нашей жизни. Интерес этот продиктован стремлением правдиво и глубоко отобразить важнейшие тенденции развития жизни, а также уверенностью, что именно подобные обстоятельства закаляют людей высокой нравственности.

Жизнь нам дана не для наслаждения и неги. Это путь, который необходимо пройти в труде и борьбе во имя утверж-



дения добра. По этому очищающему пути и идут герои Нодара Думбадзе. А юмор и обаяние облегчают тяжесть переживаний и испытаний.

Сквозь печальную улыбку Давида Клядишвили мы лицезрели трагический мир. К юмору прибегает и Диккенс, дабы дать возможность перевести дух читателю, потрясенному зрелищем трагических картин. У, казалось бы, комических персонажей и животных на полотнах Пиросмани поразительно печальное и трогательное выражение, а один из героев Думбадзе величает Сервантеса «отцом вселенной» лишь за его божественный дар.

У юмора Нодара Думбадзе есть и другое благородное назначение. Он вызывает не только сочувствие, но выражает глубокую веру в торжество добра. В изображенном им мире у трагического нет фатальной социальной основы, и героям Нодара Думбадзе приходится закалять свою душу, поддерживать друг друга в драматических ситуациях, порожденных в большинстве случаев моральным уродством.

Молодой герой романов Нодара Думбадзе прошел через множество трудностей и испытаний: тяжелым грузом легла на его хрупкие детские плечи военная година в деревне без мужчин («Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце»), не минула его и горечь сиротства в пору кратковременного торжества зла («Солнечная ночь»), пришлось пережить ему и тяжелые душевные травмы («Не бойся, мама!»), и долю без вины виноватого («Белые флаги»), и, прикованным к постели, борьбу со смертью («Закон вечности»).

В романах меняются не только время и место, но, что самое главное, конфликты и обстоятельства, которые приносят персонажам самые различные горькие переживания.

В этих разных, по существу, романах есть нечто, и притом весьма значительное, что глубоко роднит их. Например, то обстоятельство, что все они написаны о молодых людях, биографии которых принципиально не исключают друг друга, может создать впечатление, что мы имеем дело с частями большой эпопеи, написанной об одном и том же герое. Это впечатление подкрепляется и тем, что, хотя герои разнятся характерами, они все же во многом схожи и, что самое главное, одинаково сознательно или бессознательно стремятся к добру. Из романа в роман переходит и образ матери, сохраняющий свое обаяние. Здесь сходство очевидно и благодаря одному обстоятельству: мать в творчестве Нодара Думбадзе повсюду олицетворяет солнечную ночь, герои боготво-

рят ее, и монументальность, возвышенная до символики, как бы обесцвечивает живые штрихи, глубоко обозначенные на лицах — носителях этого символа.

Кроме того, благодаря пронзительной струе лиризма в романах Нодара Думбадзе создается впечатление, что он как-то участвует в развитии действия, отчасти беря на себя функции лирического героя. А если вспомнить, что все романы писателя носят автобиографические черты, становится ясной их органическая связь друг с другом.

Все творчество писателя является величественным гимном человеку и солнцу. Его герои полны добра и благородства, любви и сочувствия, веселья и жажды жизни, гордости и скромности, силы и отзывчивости. И как защитник и надежда этих прекрасных людей, днем и ночью сверкает солнце — символ земного света и тепла.

У каждого романа и рассказа писателя, какими бы тяжелыми переживаниями ни делился он с нами, обнадеживающий финал, ибо, по глубокому убеждению автора, человек, солнце, жизнь — вечны.

Этот обнадеживающий взгляд на жизнь составляет силу и красоту творчества Нодара Думбадзе. Биение его сердца, переполненного любовью, отчетливо слышно в каждом рассказе или романе, оно пронизывает их заразительным трепетом, призывая людей к преодолению боли, сочувствию и взаимоподдержке. Писатель верит, что жизнь со всеми ее дурными и хорошими сторонами замечательна и достойна восхищения. И мы, его читатели, разделяем эту уверенность.

И тем не менее, несмотря на столь общие черты и очевидную взаимосвязь, каждый роман Нодара Думбадзе — совершенно независимый художественный организм, которому дано жить своей неповторимой жизнью.

Трудно сказать, какой из них наиболее драматичен. Если подходить к этому вопросу с точки зрения общественной значимости того или иного произведения или масштабов отражения в них борьбы добра и зла, очевидно, перевес будет на стороне романов «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Я вижу солнце», описывающих жизнь времен Великой Отечественной войны, хотя и героев последующих романов автор не обделил тяжелыми испытаниями. Более того, трагизм и драматизм испытаний переживается ими гораздо острее, ибо, вступив в пору зрелости и возмужания, они намного яснее осознают причины, их порождающие.

Вторая мировая война, унесшая миллионы человеческих

жизней, остается самым большим трагическим событием в истории человечества. Правда, добро одолело зло, свет торжествовал над тьмой, для всех стала очевидной сила советского патриотизма, однако десятки миллионов невинных жертв, сожженные и разрушенные города и села и сегодня вызывают в нас трагические переживания.

Именно в годы Великой Отечественной войны росли и мужали герои первых романов Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Я вижу солнце» — Зурикела Вашаломидзе и Сосоя Мамаладзе, война оставила неизгладимый, глубокий и болезненный след в их жизни. Но вместе с уроками войны получили они и уроки той поразительной человеческой любви и сочувствия, сила и красота которых сполна могут проявиться лишь в минуту общенародных испытаний.

В этих двух романах изображена жизнь маленького грузинского селения военной поры, селения, до которого не доносился грохот канонады, которому не довелось воочию увидеть ни святую кровь, пролитую советскими солдатами, ни трупы захватчиков, но писатель впечатляюще показал нам весь ужас войны и беспримерный патриотизм советского народа. Герои и персонажи романов не совершают, на первый взгляд, ничего исключительного, однако их безграничная любовь и преданность родине, их внутренняя готовность к подвигу совершенно очевидны. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы один-единственный эпизод из романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» — когда в селении начинают хлопоты в связи с отправкой подарков на фронт. А ведь таких эпизодов, в высшей степени достоверных, насквозь пронизанных непосредственностью, в романе великое множество, в них со всей силой проявились единодушие, долготерпение и несгибаемая воля селения. Воистину неповторимы герои этого романа. Манера их речи, мышление, поведение настолько индивидуальны, что их безошибочно отличишь от тысячи других. Но, вместе с тем, они относятся к необычайно типическим образам советских людей, и в этом — их обаяние и художественно-познавательное значение. Не существует и не может существовать второй такой бабушки, как у Зурикелы, хотя одновременно она является общеклассическим типом бабушки. То же можно сказать о старших друзьях Зурикелы — Илико и Илларионе, об этих, казалось бы, немощных стариках, которые благодаря своей душевной бодрости, любви к людям, естественному стремлению сеять добро предстают перед читателем как самые сильные личности. И то главное, что хотел

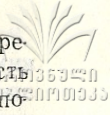
сказать нам Нодар Думбадзе своим романом «Я, бабушка, Илико и Илларион», состоит как раз в том, что забота людей друг о друге, человеческая взаимоподдержка, умение делить с ближним горе и радости, служение добру и любви украшают, и не только украшают, но и формируют гражданина. И эта, казалось бы, простая, но вместе с тем великая истина преподается в романе с поразительным юмором, тем думбадзевским юмором, который передать чужими словами попросту невозможно и который читатель может прочувствовать лишь в авторском исполнении.

Остро драматизма исполнен и второй роман Нодара Думбадзе «Я вижу солнце», где невзгоды и нужда военной поры показаны еще более ощутимо и горько. Но и здесь повествование согрето юмором, который ясно дает нам почувствовать, что народ даже в ту роковую годину, даже в самых тяжелых ситуациях не утратил жажды жизни и надежды, мужества и веры в свою правоту, веры в победу.

В романе «Я вижу солнце» солнце видит не только слепая девочка Хатия, что вселяет в нас надежду на ее выздоровление, но и все жители селения, а вместе с ними все советские люди; они видят солнце как символ веры в спасение, в победу, в жизнь и торжество добра.

В романах Нодара Думбадзе вообще, и в частности в «Солнечной ночи», время и среда локализованы, однако это не мешает автору широко и остро ставить перед читателем проблемы современной жизни. Романы эти, как бы ни отличались они друг от друга, имеют целью выяснение одной большой проблемы — каково нравственно-гражданское лицо современной молодежи. В центре внимания здесь молодежь нашего времени, и писатель ведет с нами беседу о ее гражданском бытии, внутренних переживаниях, о ее сомнениях, надеждах и отношении к жизни, наконец, о чувстве довольства и чувстве неудовлетворенности и их истоках. Автор не избегает острого взгляда на жизнь, откровенно и непосредственно делится собственными наблюдениями, которые то веселы и радостны, а то печальны и тяжелы. Но во всех случаях ясны бескомпромиссное отношение писателя к жизни и те высокие позиции, с которых он оценивает молодежь.

«Солнечная ночь» строится писателем органичным для него способом. Он с грустной улыбкой рассказывает о жизни своего молодого героя, полной глубоко драматичных переживаний, а жизнерадостный, теплый юмор облегчает тяжелое чувство читателя. Теймураз Барамидзе, так же как и другие



молодые герои Нодара Думбадзе, уже в начале жизни пере-
нес множество испытаний, гораздо больше, чем может выпасть
на долю одного человека. И если он выдюжил, то только по-
тому, что верил в непобедимость добра и света в этом
мире.

Оставшись в восемь лет без родителей, Теймураз уже
ребенком познал одиночество, и только стремление к добру
и любви уберегло мальчика от опасностей, поджидавших его
на каждом шагу. Сила духа и вера в добро сохранили в нем
жажду жизни и чувство юмора. Примечателен диалог Тейму-
раза и Дурсуна. Теймураз намного моложе Дурсуна, но ис-
пытал гораздо больше бед. Дурсуна же, выросшего и возму-
жавшего у моря, физически сильного, сломила и состарила
всего лишь одна. И случилось это потому, что Дурсун не ве-
рит ни во что на свете — ни в дружбу, ни в любовь, ни в
правду, ни в добро. Он одинок, и нет в нем веры в человека.

Интересен и диалог Теймураза и его друга Гурама на
берегу моря. Юноши, посмеиваясь, как бы между прочим
обсуждают проблемы, одинаково волнующие всех людей. Од-
нако их нарочито небрежные речи — только маска, под ко-
торой таятся истинная мужественность и гражданственность.
Легкомысленная, на первый взгляд, беседа об очень серьезном
и значительном еще и еще раз убеждает нас — для этих
юношей не существует, да и не может существовать беспро-
светная, бессолнечная ночь, уже наступившая для Дурсуна.

В «Солнечной ночи», как и в других романах, за каж-
дым легким, полным юмора эпизодом, когда читатель забы-
вает обо всех горестях на свете и от души хохочет, глядя на
веселых героев, внезапно следуют драматические, а зачастую
и трагические моменты. Но стоит писателю почувствовать, что
читатель вот-вот ударится в слезы, он резко меняет обстоя-
тельства и все тем же юмором разбавляет его переживания.
И снова следует фейерверк веселых, остроумных ситуаций
или диалогов, и опытный читатель уже понимает, что писа-
тель вновь подготавливает его к тяжелым переживаниям.

«Солнечная ночь» начинается с описания зимней сессии в
университете, и описание это столь живо, что возвращает нас,
читателей, в пору нашего студенчества, пору наших прежних
волнений, горестей и радостей. Но вот читатель, в глазах ко-
торого еще блестят слезы смеха, сопровождая Теймураза Ба-
рамидзе с экзаменов домой, вдруг становится свидетелем нео-
жиданной сцены: Темо встречает вернувшуюся издалека мать,
которую он не видел двенадцать долгих лет.

И тут Нодар Думбадзе предстает перед нами таким тонким мастером драмы, что невольно думается — неужели оба эти эпизода принадлежат перу одного писателя. Эпизод следует за эпизодом, событие за событием — то тяжкие, как каменная глыба, то безмятежные, как сама юность, то легкие, как юмор.

Но самой светлой и проникновенной и вместе с тем драматически напряженной и волнующей в романе является сюжетная линия, раскрывающая сложные взаимоотношения Темо и матери. Писатель сделал нас не только свидетелями беспредельной материнской и сыновней любви, но и заставил глубоко пережить происходящее. Более того, свято славя эту любовь в лирической исповеди героя, он как бы создает новые «религиозные» песнопения.

Несмотря на тысячи навалившихся на Темо испытаний, сердце его преисполнено лишь любви и добра. Потому и приглашает он в финале романа на день своего рождения всех и вся — Тбилиси с его улицами; друзей; знакомых и незнакомых. И не надо Темо ничего другого — только бы жила в его сердце любовь. Но довольно ли одного этого?

«— Забудь, мама, все или скажи, что мне делать?»

— Это забыть нельзя!»

Вот две концепции, два отношения ко злу — и в романе Нодара Думбадзе, и в самой жизни. Так кто же прав?

Здесь мать и сын расходятся во взглядах, и хотя более гуманной кажется позиция сына, это кажущийся гуманизм, несмотря на то, что его проповедует такой искренний человек, как Темо.

Мать права — человек должен помнить и зло и добро. Забыть то, что произошло с Темо и его семьей, действительно невозможно. Но Темо забывает и жестоко расплачивается за это. Он все-таки доверяется тому, кто однажды уже погубил его семью, и теперь вновь вкушает плоды коварства и вероломства, ибо пребывающий во зле предан своей природе и своим устремлениям. Права была мать — нельзя ничего забывать.

Но он и на сей раз забыл, и на сей раз простил. Именно Темо окружает заботой одинокого и злобного соседа, когда находит его беспомощно распростертым на лестнице. Бодрствуя над ним ночами, он сначала изнемогает от отвращения, но потом проникается жалостью к нему, и, наконец, его душишат слезы, терзает страдание. И все-таки права мать — по-

тому и наделен человек памятью, чтобы помнить ои и зло и добро. Только тогда добро восторжествует над злом.

Многое роднит «Солнечную ночь» с предыдущими и следующими романами Нодара Думбадзе, и в первую очередь символ солнца. Солнце является важнейшим и прекраснейшим символом света, добра, любви и вообще всего чистого и возвышенного. И коль скоро писатель превратил солнце в символ столь больших и благородных чувств, солнце для него и его героев светит и ночью.

После того как мы проникаемся этой большой любовью, этим священным благоговением Теймураза и его друзей перед солнцем, оно уже не кажется нам искусственной позой, и мы безоговорочно воспринимаем всю непосредственность проявления их чувств в сцене, когда в мерцающем сиянии солнца герой опускает на сбегающую в море тропинку гортензии:

«— Я преподнес солнцу цветок!..»

«Не бойся, мама!» в некотором роде продолжает начатый в «Солнечной ночи» рассказ о приключениях молодого героя Думбадзе. Все та же тбилисская студенческая среда, труд, времяпрепровождение, споры о значительных и совершенно незначительных вопросах, все, что свойственно молодому возрасту, еще раз предстанет в романе перед глазами читателя. Но ко всему этому добавляется еще одна грань жизни молодежи — военная служба. Герой романа Авто Джакели отбывает всеобщую воинскую повинность у пограничников, отбывает с той же ответственностью и весельем, какие в другое время и в других обстоятельствах проявили Зурикела Вашаломидзе, Сосойя Мамаладзе и Темо Барамидзе в уже известных нам романах писателя.

Несмотря на неисчерпаемую фантазию, Нодар Думбадзе пишет лишь о том, что видел собственными глазами, что пережил сам. Как нам уже приходилось отмечать, его творчество носит во многом автобиографический характер. Когда его молодой герой достиг возраста призывника, писатель испросил себе особое разрешение и пошел служить на пограничную заставу, чтобы досконально изучить службу и быт солдат, проникнуть в их психику, душу. Вот отчего произведение получилось таким правдивым, живым и интересным.

Юный герой романа «Не бойся, мама!» сразу очаровывает читателя непосредственностью, искренностью, нравственной чистотой, человеколюбием, добродушием и веселостью.

Одним из важнейших достоинств, которыми он обладает, является то, что его сердце одинаково открыто для всех добрых людей, какой бы профессии и социального положения, какого бы возраста и национальности они ни были. Поэтому и дружат молодые герои Нодара Думбадзе с пожилыми ночными сторожами, пастухами, ремесленниками, с людьми любой национальности, со всеми, кто велик и богат душой. Таков и Авто Джакели в романе «Не бойся, мама!» В нем ни на йоту не атрофированы национальные чувства, он безоглядно любит не только соотечественников, но всем сердцем сочувствует даже тем грузинам, что живут по ту сторону границы. Однако, чувство это не только не перерастает в национальную ограниченность и чванство, но, напротив, поддерживает и еще более воспламеняет в нем интернациональный дух. Лучшее подтверждение этому дружба Авто Джакели с пограничником Щербиной. Их отношения — блестящее художественное выражение богатства природы и интернационального духа советской молодежи не только в масштабе творчества Нодара Думбадзе, но и в масштабе всей многонациональной советской литературы.

Роман «Белые флаги» занимает особое место в творчестве Нодара Думбадзе. Хотя ни один роман и рассказ писателя не лишен драматизма, все же «Белые флаги» производят особое впечатление. Судьба личности, судьба без вины виноватого необычайно заряжает его. Не только непричастность Зазы Накашидзе к убийству, но и чистота его души с самого начала очевидны для читателя, но сможет ли он найти справедливость или станет невинной жертвой, — вот те вопросы, которые волнуют и писателя, и читателя.

Заза Накашидзе сидит в тюрьме в ожидании приговора. В камере, помимо него, еще девять заключенных, совершивших преступление: один убил, другой украл, третий взял взятку, кто растратил государственные средства, кто прелюбодействовал и т. д. И они ожидают приговора, но ожидание Зазы иное. Приговор для всех других — лишь заслуженное возмездие, для Зазы же — торжество правды либо несправедливости.

И Лимон, и Тигран, и Шошиа, и Исидоре и прочие, сидящие в камере вместе с Зазой, для писателя, в первую очередь, преступники, и он срывает с них маски, до конца раскрывая большую или меньшую тяжесть, характер и мотив их преступлений. Однако, помимо того, и это самое главное, в глазах писателя они еще и люди со своими судьбами и несчастьями, характерами и переживаниями, болью и радостью.



желаниями и мечтами, и он стремится заглянуть в их души, чтобы увидеть гораздо больше того, что говорят о них их преступления. При этом в закоулках души даже таких закоренелых преступников, как Лимон и Тигран, он находит поразительное человеческое мягкосердечие, из-за которого Лимону и раньше приходилось отказываться от воровства и грабежа, а Тигран обнаружил в себе это свойство, уже сидя в тюрьме и оказавшись в совершенно непривычной роли сочувствующего чужим бедам.

В своем небольшом по объему романе Нодар Думбадзе ставит множество злободневных вопросов, и его гражданская смелость, правдивое и горькое слово проистекают из глубокого осознания долга писателя. Однако не в этом основной пафос творчества Нодара Думбадзе и, в частности, данного романа. Писатель везде и всюду ищет лишь добро. И здесь в душах самых закоренелых преступников он обнаруживает человеческие чувства. В этом его писательское кредо. В этом его метод посева добра. Этим путем он должен достичь желанной цели — окончательного торжества добра. В финале романа, в первую ночь своего освобождения из тюрьмы, Заза видит это торжество во сне: над миром реет белый, словно снег, огромный и чистый флаг, реет как символ добра, нежности и любви.

Подобному финалу не требуется объяснения, его символика очевидна и прозрачна. Читателю может показаться, что в этом романе писатель изменил своему символу добра, нежности и любви, избрав таковым белый флаг. Такое заключение неправомерно, ни о какой измене не может быть и речи.

В этом царстве мечты, на Джомолунгму, где реет над миром белый флаг, героя романа ведет солнце.

Да, по пути всеобщего добра и любви Зазу Накашидзе ведет именно солнце.

Казалось, ничто не могло уже нас удивить в Нодаре Думбадзе, однако его, к сожалению, последний роман «Закон вечности» произвел все-таки поразительное впечатление. Роман этот, с одной стороны, органично связан с общим духом и установлениями творчества писателя, и в нем явственно видны общие и определяющие черты его стиля, однако, с другой стороны, и своей художественной тканью, и, что самое главное, концептуально он все же отличается от всех предыдущих романов. Это случилось, возможно, оттого, что герой его — далеко уже не юноша — прошел не только интересную, но и достаточно долгую школу жизни.

И несмотря на это, по своей целостной сути и художественной системе роман «Закон вечности» является одним из органичных звеньев в цепи творчества Нодара Думбадзе, вычлнить которое невозможно. И здесь сердечный жар писателя пламенеет в каждом характере, в каждой фразе.

Таковы были герои всех предшествующих романов Нодара Думбадзе. Не отличается от них и Бачана Рамишвили.

«Да... Искусственное сердце вам не подойдет, с искусственным сердцем вам не прожить...» — говорит профессор Бачане Рамишвили.

Преданность добру подразумевает непримиримость к злу. Равнодушно созерцать зло, терпимо относиться к нему, не говоря уж об активном деянии зла, способны лишь обладатели искусственного сердца. Полному же добра человеческому сердцу такое не вынести. Эпизодов, убеждающих нас в этом, в романе много. Вот один из них.

Одного из работников редакции поймали с поличным при получении взятки. Отношение сотрудников к этому факту различно. Заместитель редактора, и сам весьма подозрительная личность, возмущается больше всех. Нет, переживания не коснулись его сердца, просто он надеялся избежать ответственности и даже продвинуться вверх по служебной лестнице. Поэтому он набросился на редактора. Бачана же Рамишвили, в эту минуту начисто позабыв о своем редакторстве, горел стыдом и жалостью к своему сотруднику и другу.

«...Боль возникла в правом плече. Затем она поползла к груди и застряла где-то под левым соском. Потом будто чья-то мозолистая рука проникла в грудь и стала выжимать сердце, словно виноградную гроздь. Выжимала медленно, старательно: раз-два, два-три, три-четыре... Наконец, когда в выжатом сердце не осталось ни кровинки, та же рука равнодушно отшвырнула его...»

Во время своего длительного пребывания в больнице, общаясь с отцом Иорамом, Буликой и другими и, что главное, вспоминая и анализируя собственную жизнь, Бачана Рамишвили открыл закон вечности, который он так изложил своему лечащему врачу:

«Суть этого закона... заключается в том, что... душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее... И потому

мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы — мою, я — другого, другой — третьего и так далее до бесконечности. Дабы смерть человека не обрекала нас на одиночество в жизни...»

Бачана Рамишвили лишь теперь осознал этот закон, но ведь и он, и герои других романов Нодара Думбадзе всю жизнь были верными его приверженцами. Любовь к ближнему, взаимоподдержка, причащение к горю и радостям других людей — обычное дело, норма, потребность души для всех героев Нодара Думбадзе вообще и для Бачаны Рамишвили в частности.

Благодаря этой нравственной убежденности героя, животворному гуманистическому пафосу роман «Закон вечности» сразу же сделался достоянием всей многонациональной советской литературы, получив огромный резонанс как в нашей стране, так и за ее пределами. Советский читатель принял его безоговорочно, а многотысячная интернациональная армия строителей уникальной Нурекской ГЭС единогласно присудила Нодару Думбадзе свою рабочую премию. Позже роману была присуждена и Ленинская премия.

У «Закона вечности» множество достоинств, но мне хочется привлечь внимание читателей к одному из важнейших.

Этот высоконравственный закон вечности вовсе не означает проповеди всепрощения. Бачана был еще неоперившимся юнцом, когда ему довелось убить человека — именем Глахуны Керкадзе — если можно назвать человеком разбойника, грабителя, предателя родины, вероломного убийцу. Два бога было у Бачаны на этом свете: одного — пастуха Глахуну Керкадзе убил разбойник Манучар Киквадзе, которому Бачана и отомстил в одиночку, хотя вся деревня жаждала расправиться с убийцей, к другому — дедушке — пришел он повиниться в содеянном.

И еще не раз воспыхает Бачана жаждой отмщения во имя чести, правды и любви. Так чудом спасенный, недвижно лежа в больнице, он, не считаясь с опасностью для здоровья, вдребезги разбивает ночной горшок о голову того, кто заслуживал лишь такого ответа от справедливого и честного человека, заслуживал настолько, что даже отец Иорам одобрил поступок Бачаны.

В творчестве Нодара Думбадзе герой, который, можно сказать, переходит из романа в роман, мужая и формиру-

ясь у нас на глазах, испытал очевидные изменения. Если раньше, в пору юности, в «Солнечной ночи» душа его была полна всепрощения, настолько, что даже предателю Абибо он простил преступление, то теперь в «Законе вечности», набравшись ума и опыта, он думает совершенно иначе. Да, герой убедился, что зло необходимо искоренять, а не прощать. Ломка в его характере и сознании приводит его к воинствующему гуманизму.

Мы не раз убедимся в непримиримости Бачаны ко злу и в других эпизодах романа. В них писатель весьма искусно, ненавязчиво обращает наше внимание на отрицательные стороны человеческой природы, поднимая острейшие проблемы современности, выявляя душевные достоинства своего героя.

А зло, большое или малое, вечно сопутствует человеку, ибо оба начала — и зло, и добро — присущи ему. На протяжении жизни человека подстерегает самое разнообразное, замаскированное или незамаскированное зло, и именно в борьбе с ним проявляются и сила его, и бессилие. Не избежал подобной участи и Бачана. И не только не избежал, но, может, больше и сильнее других испытал нестерпимую боль от ран, нанесенных острым, беспощадным и вероломным клинком зла.

Перед глазами Бачаны вечно маячат пустынная платформа провинциальной станции и две фигуры на ней: растрепанная, с обезумевшим лицом женщина без пальто и цепляющийся за нее босоногий, изумленный мальчуган в ночной рубашке до пят. Мальчуган этот — сам Бачана, а женщина — его тетя — два гонимых сатаной ангела. Так начался жизненный путь Бачаны, и видение это постоянно преследует его.

То, что в мире господствует не только зло, Бачана почувствовал и осознал очень скоро. Много добрых людей встречал он на своем пути, хотя бы таких, как сельский врач и аптекарь. Однако всю силу и красоту добра дал ощутить и понять Бачане пастух Глахуна Керкадзе. Он же преподавал ему урок мужества и противостояния злу, самопожертвования во имя добра.

Отец Иорам и Бачана ведут в больнице нескончаемый спор. Оба беззаветно защищают свою веру. Вера обоих основана на добре и ставит целью сеять добро. Поэтому они находят много общего в своих высказываниях. Однако их по-

зиции все же диаметрально противоположны. Отец Иорам лишь проповедник добра, победу же над злом он целиком передает воле бога, Бачана же сам является борцом за добро и глубоко убежден, что это и есть первейший долг человека и что упование на волю божью не может принести никаких плодов.

Бачана стремится ко всеобъемлющей любви. Можно сказать, что весь роман является выражением этой устремленности, но есть несколько сюжетных линий и эпизодов, когда она выражена со всей очевидностью. Эпизоды, в которых рассказывается о Тамаре и сумасшедшей Марго, отягчены драматизмом, даже трагизмом. Прежде чем подвести нас к ним, писатель начинает повествование с присущим ему мягким юмором, а когда улыбка переходит в неудержимый хохот, вдруг резко меняет тон, создает такую напряженную ситуацию, вызывает в нас такую щемящую боль, что и без того острый сюжет, благодаря эффекту неожиданности и контрастности, обретает еще большую остроту.

Нодар Думбадзе редко изменяет этому способу построения эпизода, когда все начинается с юмора и заканчивается слезами. В романе же «Закон вечности» есть целая сюжетная линия с несколькими чрезвычайно значительными эпизодами, где прием этот совершенно забыт. Это линия взаимоотношений Бачаны и Мариам. Именно здесь со всей очевидностью проявляются божественная сила и красота закона вечности. Редко приходится читать столь прекрасную и возвышенную историю любви мужчины и женщины.

Историю эту писатель описывает романтически, а точнее, романтича, возвышенна неземная сама любовь Бачаны и Мариам. Это — взаимное стремление душ, внезапное и вечное, безудержное и прекрасное.

Казалось бы, все странно в этой истории — и первая встреча Бачаны с Мариам, и неожиданное возвращение Мариам, и венчание в покинутой церкви Шавнабады, и безмолвная клятва в любви на заснеженных пригорках Самадло, и молитва Мариам, и ее исповедь. Все странно в их отношениях, но вместе с тем и глубоко человечно, благородно, честно.

«Закон вечности» ставит перед читателем множество вопросов, на которые искренне отвечает сам писатель. Весьма интересна и художественная структура романа, на первый взгляд как бы аморфная, на самом же деле необычайно целостная, подчиненная главной идее, целиком и полностью служащая ей.

Образы и сюжеты, почерпнутые из фольклора, мифа, библии, так органично вплетаются в художественную ткань произведения, что читаются и расшифровываются без особых усилий. Реализм Нодара Думбадзе органично впитывает и широко использует фольклорные сюжеты, мифические образы, романтические настроения, фантастические видения или натуралистические эпизоды, что способствует более впечатляющему, эмоциональному, образному раскрытию замысла писателя.

«Солнце — мать моя...» — произносили на протяжении веков и повторяют доныне грузины этот бессмертный стих, созданный народом. Спустившееся на землю и почивающее на подушке Бачаны и Мариам солнце, вообще символика солнца, которой так богато и возвышенно все творчество Нодара Думбадзе, берет свое начало из фольклора. Подобно тому, как это принято в фольклоре, мать и солнце для Нодара Думбадзе синонимы, и оба — вместе либо в отдельности — символизируют добро, свет, жизнь, бессмертие.

По аналогии с мифом строится и исповедь Мариам. В ее краткой страстной речи нашли волнующее выражение трагедия и надежда, падение и взлет человека. Эффект этот достигается именно с помощью мифологического приема:

«— А теперь слушай меня... Я умирала в жизни пять раз и воскресала столько же раз. В первый раз я умерла в страхе и воскресла в одиночестве... Во второй раз я умерла в одиночестве и воскресла в притворстве... В третий раз я умерла в притворстве и воскресла в безопасности... В четвертый раз я умерла в безопасности и воскресла в ненависти... В пятый раз я умерла в ненависти и воскресла в любви... Теперь я живу огромной, всеобъемлющей любовью, и знай, что умру в любви! И это будет моей последней смертью... После этой смерти я никогда уже не воскресну... Я исчезну, растворюсь в вечной любви...»

Мы встречаемся в романе с Бабаянцем, с верийскими ребятами и другими персонажами, и эпизоды, связанные с ними, казалось бы, должны придать роману отпечаток натурализма, но весь секрет мастерства Нодара Думбадзе, сила его таланта состоят именно в том, что мифологическая струя не воспринимается в его произведениях как нереальная, а непосредственно списанное с жизни — натуралистическим. Все это вместе создает не эклектическую мешанину, а органическое целое, несущее большую художественную правду.

«Закон вечности» излучает тепло человеческого сердца

и свет его души, и он не мог быть создан без главного для Думбадзе символа. И в этом романе, как только разговор касается любви, автор не раз прибегает к помощи своего нестаряющегося кумира, к символу света и чистоты — солнцу. И в первую очередь — в том случае, когда повествует о любви Еачаны и Мариам:

«...Потом на землю спустилось солнце. Оно прошлось по заснеженному полю Самадло, укрыло теплым белым покрывалом двух Адамовых потомков, прилегло у их изголовья и убаюкивало их, пока сладчайший сон не сомкнул им вежды, а потом возвратилось на прозрачный зеркальный небосвод».

Так создается современный миф о солнце.

Обычно прозаики начинают с рассказов, а к романам приходят позже. Нодар Думбадзе поступил иначе — написал и опубликовал свои рассказы лишь после того, как обрел прочную репутацию романиста. Его рассказы, как, впрочем, в свое время и романы, и в отдельности, и собранные в книгу, произвели на читателей поразительное впечатление.

Поначалу многим показалось, что своими рассказами писатель приоткрыл дверь в новый мир. Поэтому иные критики объявили, что рассказы Н. Думбадзе знаменуют новый этап в его творчестве. Вполне возможно, что в подобных суждениях содержится зерно истины, однако очевидно и то, что и до появления рассказов проза Нодара Думбадзе вовсе не текла по однообразному, раз и навсегда заданному руслу. Кроме того, его рассказы «Солнце», «Дидро», «Собака», «Коррида», «Кукарача», «Цыгане», «Хазарула» и другие, несмотря на их проблемно-стилистическое многообразие, органично связаны с общим духом и устремлениями творчества писателя, и в них зримо проявляются общие и определяющие черты прозы Нодара Думбадзе.

Все творчество Нодара Думбадзе, да не сочтется это патетикой, — гимн человеку и солнцу. Как бы для конденсированного выражения данного положения написал он рассказ-гимн «Солнце». Солнце — «творец», «привычное чудо». С замиранием сердца взирают на него и гора Эрцаху, и хлопочущие в камерке мать с сыном, и необычная пара на берегу моря — священник с милиционером, и полная жизни молодая женщина, и люди на пороге смерти. Великолепно солнце и в своей гордыне, провозглашающее: я емь все и вся, и я всесильно. Великолепно оно и в своей мягкосердечии, когда, глядя на обрушившиеся на землю несчастья, признается морю: «Смотреть на это ежедневно невозможно». Великолепно солнце, но еще

великолепней человек, и этот неожиданный поворот художественной мысли в конце рассказа впечатляет читателя.

Еще одним замечательным художественным выражением человеческого достоинства и гордости является рассказ «Неблагодарный». Смерть простого крестьянина, столетнего старика Гудули — горькое, но все же мирное прощание с жизнью человека, исполнившего свой долг на земле. В нем и одиночество брошенного детьми старика, и горечь расставания с жизнью, однако, несмотря на смерть героя, нет трагизма, смерть Гудули вызывает в читателе лишь изумление, изумление по поводу того, что в мире существуют такие могучие, великодушные люди, которые, завершая долгий земной путь, пройденный с гордой душой, предсмертные минуты посвящают молитве о бессмертии жизни на земле.

В рассказе «Дидро» писатель причащает нас к большому человеческому горю. Это душераздирающий рассказ о замученном судьбой человеке.

Юмор Нодара Думбадзе в первой части рассказа приближается к сатире, и сочувствие с той же силой, с какой выражает его писатель, вспыхивает в нас, читателях, сочувствие к чокнутому Дидро, на пороге смерти осознавшему, благодаря просветлению разума, весь ужас собственного существования.

Нодар Думбадзе лишь в редчайших случаях завершает свое повествование на столь трагической ноте. И в рассказе «Собака», как и в большинстве его произведений, вечным спутником жизни выступает смерть. И здесь в конце рассказа сирота Гогита остается совсем один — умирает дедушка, но финал все же полон надежды, ибо жизнь продолжается. И это писатель показывает нам с присущим ему поразительным тактом:

«...Наступило утро.

Пропел петух.

Замычала корова.

Заблеяла коза.

Закудахтали куры.

Из-за Концхоулы поднялось солнце».

Таковы все большие и малые рассказы Нодара Думбадзе, которые своими страстями, характерами, образами привлекают внимание, а зачастую вызывают и восхищение читателей (о чем свидетельствуют не только отзывы прессы, но

и многочисленная читательская почта писателя). И в рассказах Нодара Думбадзе прослеживаются присущие его романам автобиографичность, юмор, лиризм, драматизм, сочувствие героям, одним словом, все, что определяет стиль Нодара Думбадзе. Перешел из романов в рассказы и самый главный символ писателя — солнце, культ которого пронизывает все его творчество.

Старик Гудули из рассказа «Неблагодарный» то и дело обращает свой взор к солнцу, чтобы исполниться покаянием и светом. Завершив свои обычные крестьянские дела, он, как правило, взглянет на солнце и беседует с ним. И неудивительно, что, почуяв приближение смерти и расставаясь с миром, Гудули первым долгом обращается к солнцу, нижайше кланяется ему, становится перед ним на колени и говорит: «Прощай, солнце, и прими от меня великую благодарность!»

Так во славу солнца, а в его лице — добра, блага, любви прожил свою жизнь Нодар Думбадзе и оставил нам пронизанное солнцем творчество. Подобно Гудули, но гораздо более молодым простился он с солнцем, сказав: «Прощай, солнце, и прими от меня великую благодарность!»

Вот и все, что я хотел сказать читателю о человеке и писателе с солнечным сердцем — Нодаре Думбадзе.

Перевел У. ИЛЬИН

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

ЛЕРМОНТОВ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «КАВКАЗ»

ГАЗЕТА «Кавказ», издававшаяся в Тбилиси в 1846—1918 годах, занимает особое место в историко-литературных взаимосвязях русского и грузинского народов. На страницах этого популярного издания нередко встречаются имена А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Островского и других; статьи и сообщения о писателях, о театральных постановках и т. д.

В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский и другие высоко оценивали это издание. Все это обусловило в наше время интерес к публикациям «Кавказа», об отдельных материалах которого писали В. С. Шадури, Г. Талишвили, Н. Махарадзе и другие ученые.

Но до настоящего времени все еще недостаточно изучены материалы газеты, посвященные Лермонтову. Впервые имя поэта появляется на страницах «Кавказа» в 1853 году. Н. Дункель-Веллингчинсвик походной канцелярии наместника, активно сотрудничавший с газетой, в своей статье «О влиянии на литературу и в особенности на изящную словесность завоевания стран, отличающихся типическими особенностями» (1853, № 57) на примерах творчества Пушкина, Марлинского и Лермонтова рас-

сматривает влияние грузинских мотивов на русскую литературу. В том же году (№ 92) тот же автор пишет о бенефисе известного актера Иванова, прочитавшего стихотворение поэта «И скучно, и грустно...»

Интересно, что в 1856 году (№ 67) газета публикует рецензию некоего Н-р П-ва «Прощальный бенефис Иванова», в которой сообщается об удачной игре бенефицианта в пьесе «Герой нашего времени». Как видно, актер тбилисского театра проявлял серьезный интерес к творчеству поэта. Но о значении этой публикации мы скажем ниже.

Несколько слов об одном из редакторов газеты, который руководил ею с 17 февраля 1854 года по 26 января 1856. Это — Евграф Алексеевич Вердеревский, поэт, инициатор создания альманаха «Зурна», редактор «Кавказа» и «Записок Кавказского отдела Русского географического общества». Совместно с Н. Дункель-Веллинггом он написал книгу «Шамиль в Париже и Шамиль поближе», был автором нашумевшего произведения «Плен у Шамиля».

В 1858 году в фельетоне «От Зауралья до Закавказья», напечатанном в «Кавказе» (№ 61), он приводит строки из стихотворения Лермонтова:

...улицей пустынную,
из бань, со всех сторон,
выходят цепью длиною
четы грузинских жен.

Вердеревскому «удалось сплотить вокруг «Кавказа» русских, грузинских, армянских, азербайджанских литераторов, историков, этнографов, журналистов и театралов...» (В. С. Шадури, Поэтический край, с. 195).

В 1856 году он покидает Грузию. После него газету возглавляет Н. Г. Берzenов.

В 1857 году в «Кавказе» (№ 43) публикуется его статья о грузинской литературе, в которой он проводит параллель между великим грузинским романтиком Николозом Бараташвили и Лермонтовым.

Кем же был очередной редактор «Кавказа»? В. С. Шадури отмечает: «Деятельность его.. к сожалению, еще недостаточно изучена и оценена».

Николай Георгиевич Бердзнишвили (Берzenов), критик и этнограф, был одним из первых «грузинских разночинцев». С «Кавказом» сотрудничает с конца сороковых годов. Он первый



указал на сходные мотивы в творчестве Лермонтова и Бараташвили, первый в Грузии оценил творчество А. Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Именно благодаря ему и его предшественнику Вердеревскому «Кавказ» стал одной из самых популярных газет.

В 1856 году (№ 38) читатели, интересующиеся жизнью Лермонтова, смогли ознакомиться с материалом пятигорского корреспондента газеты Н. Монаенко, который писал о квартире и могиле поэта. В № 107 за 1873 год Евгений Филицын описывает лермонтовские места, ветхий домик Чиляева, небольшую пещеру «Грот Лермонтова», в которой, по преданию, была написана поэма «Демон», Перкальскую скалу и место дуэли.

В целом сведения из Пятигорска занимали важное место в литературном отделе «Кавказа». Так, в 1871 году (№ 98) сообщается о получении разрешения на сооружение в городе памятника поэту.

Почти в каждом номере после этого сообщения появляются заметки о сборах средств, о заседании комиссии, потом об открытии опекушинского памятника в 1889 году. Печатались в газете также очень подробные сообщения о юбилее — сорокалетию со дня гибели Лермонтова в 1881 году (№№ 52, 145, 163, 164, 166).

В 1880 году (№ 271) появляется такая короткая заметка: «В газете «Россия» мы прочли депешу: «В Пятигорске готовится вандалическое разрушение дома, в котором жил Лермонтов».

Газета заботилась и об увековечении места дуэли Лермонтова. В 1881 году (№ 145) корреспондент пишет: «До сих пор предполагали, что дуэль проходила по той стороне горы Машук, где находится Перкальский источник. К. Карпсв, который в 1841 году служил в Пятигорске комендантом, указал, что место находится на стороне железной дороги».

В № 224 читаем: «По словам «Листка», контрагент Кавказских минеральных вод А. М. Байков предложил начальнику Терской области поставить крест вблизи Пятигорска, где был убит М. Ю. Лермонтов. Комиссия собрала сведения от старожилов Пятигорска. Среди них был Евграф Гонеев, дворовый человек Хастатова».

В № 186: «...образовалась комиссия для определения места, где был убит 15 июля 1841 года М. Ю. Лермонтов. В Пятигорск приехал профессор Дерптского университета Павел Александрович Висковатов». До недавнего времени на высказывания П. А. Висковатова о Лермонтове, в частности по поводу источников «Демона», не обращали должного внимания. В. С. Шадури пишет,

что Висковатов одним из первых указал на грузинскую легенду о Гуде как на источник поэмы Лермонтова («За хребтом Кавказа», Тб., 1977, с. 30—40). Именно этой теме посвящена статья «Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова», напечатанная в «Кавказе» (1881, № 203). Еще до этой статьи в № 164 П. А. Висковатов опубликовал воспоминания о Лермонтове, принадлежащие П. Магденко, предварив их словами:

«Собирая материалы для биографии Лермонтова, я обратился к некоторым лицам, имевшим отношение к нему, с просьбой сообщить, что они знают о любимом нашем поэте. Между прочими сведениями получил я сообщение от полтавского и екатеринославского помещика Петра Ивановича Магденко...»

Этот человек отвез Лермонтова в своем «дормезе» в Пятигорск, «как бы на смерть». Пишет он о Лермонтове с большим преклонением, глубоко сожалея об его гибели.

В газете печатаются также воспоминания Вистенгофа, фельетон Потто о Мамацеве. Вистенгоф учился с Лермонтовым в университете. Воспоминания его не оставляют приятного впечатления (1884, № 107). Он пишет о том, что Лермонтов очень напоминал героя своего романа Печорина.

В фельетоне Потто «Былое К. Х. Мамацева» (1897, № 235) — более зрелый взгляд на личность великого поэта. Статья написана в связи с шестидесятилетием со дня произведения в офицеры ветерана Кавказской войны генерал-лейтенанта Константина Христофоровича Мамацева, служившего вместе с Лермонтовым в Тенгинском полку. Здесь же приводятся воспоминания самого Мамацева. Об этом интересном человеке рассказывается в книге В. С. Шадури «За хребтом Кавказа».

Еще в 1970 году (№ 98) газетой было напечатано сообщение о Хохрякове, имеющем рукописи Лермонтова. В 1888—1889 годах газета особенно увлекается открытиями новых текстов поэта. В 1888 году (№ 325) в отделе хроники русской жизни сообщается, что в последнее время одному из библиофилов удалось отыскать 140 еще не бывших в печати стихов Лермонтова.

В № 5 за 1881 год в отделе «Смесь»: «В «Русском архиве» появилось новое стихотворение Лермонтова «Сердце» с подлинника, принадлежащего Бахметевой и подаренного ей приятелем поэта Н. И. Поливановым».

В 1889 году (№ 8) печатается несколько неизвестных стихотворений поэта: «Болезнь в груди моей...», «Не ты, но судьба виновата была...», «Как я хотел тебя уверить...». Безусловно, далеко не все сведения газеты о Лермонтове верны и точны, но они ценны сами по себе как показатель интереса к жизни и твор-

честву писателя. Вплоть до того, что печатаются даже рецензии на школьные сочинения по произведениям Лермонтова (№ 101 за 1858 год).

Переводы «Демона» — еще одна грань в литературе о Лермонтове. В 1887 году поэма была переведена на шведский язык (№ 321, 1887), через год Мамия Гуриэли перевел ее на грузинский (1888, № 210). Творчество поэтов, художников, скульпторов, актеров, посвященное Лермонтову, — ничто не ускользало от внимания газеты, все становилось достоянием широких читательских масс.

«Кавказу» были по плечу и серьезные исследования творчества поэта. В конце века на его страницах появляются работы Хаханова, Вейденбаума, Веселовского. Александр Веселовский, характеризуя образ Тамары, фактически подытоживает суждения Хаханова, Броссе и других авторов.

Не менее интересны страницы газеты, посвященные связи творчества Лермонтова с театром.

Как видно из газеты, опера А. Рубинштейна «Демон» впервые была поставлена в Тбилиси в бенефис Пальминой в 1883 году (№ 3).

А 15 ноября 1888 года Тбилиси становится свидетелем постановки новой оперы того же композитора — «Купец Калашников» (№ 306). Кстати, либретто оперы печаталось в «Кавказе». Интересно, что это произведение Рубинштейна было запрещено в Петербурге после второго представления. Так что тбилисскую постановку можно считать фактически первой полноценной постановкой оперы.

В 1896 году уже грузинским театром была осуществлена постановка «Демона» в переводе М. Гуриэли (№ 26). Газета публиковала много материалов о постановке этих спектаклей.

В 1893 году появляется сообщение об участии в «Демоне» вместе с гастролировавшей тогда в Тбилиси певицей Папаян и Ф. Шаляпина (№ 259).

Так же широко освещены в «Кавказе» и постановки драмы Лермонтова «Маскарад». Найденные нами в газете материалы позволили внести некоторые исправления в «Лермонтовскую энциклопедию». Официально известно, что «Маскарад» впервые был поставлен на провинциальной сцене в 1882 году. Между тем, согласно материалам газеты «Кавказ», драма Лермонтова впервые была поставлена в Тбилиси еще в 1867 году (№№ 70, 72). Газета писала: «Нельзя не признать представление «Маскарада» приятным на нашем театре явлением и нельзя не побла-

годарить гг. артистов за прекрасное исполнение многих сцен этого произведения».

Эта дата подтверждается напечатанной в том же году в Тбилиси брошюрой «Несколько слов о русском театре в Тифлисе», обнаруженной нами в Ленинградской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Автор ее, подписавшийся «Один из публики», отзывается о постановке драмы весьма отрицательно, утверждая, что рецензии на игру актеров, напечатанные в газете излишне восторженные и не соответствуют действительности.

Удалось уточнить еще одну дату в «Лермонтовской энциклопедии». В ней говорится, что известный армянский трагик А. Адамян выступил на премьере «Маскарада» в Тбилиском армянском театре в 1882 году, в действительности премьера состоялась на год раньше—19 ноября 1881 года (№ 259).

Интересны и многочисленные рецензии на игру армянского трагика. В одной из них читаем: «Тип бездушного и испорченного Арбенина воспроизведен был г. Адамяном мастерски» (1887, № 2), а в другой: «Роль Арбенина исполнена Адамяном с большим талантом, с трагизмом и болью» (№ 259).

Благодаря материалам «Кавказа» уточнена нами и дата первой инсценировки «Героя нашего времени». В «Лермонтовской энциклопедии» приводится дата — 1901 год. Между тем в уже указанном сообщении некоего Н-р П-ва о прощальном бенефисе Иванова, относящемся к августу 1856 года, говорится об удачной игре актеров в пьесе Лермонтова «Герой нашего времени» (№ 67). Содержание «пьесы» представляет собой примитивный, если не сказать опошленный пересказ отношений Веры и Печорина, но все же это — инсценировка, которая была осуществлена в Тбилиси на полвека раньше, чем это указано в энциклопедии.

А вот совершенно неизвестный факт. Как сообщает газета, в 1892 году драматическая цензура одобрила к представлению трехактную драму «Бэла» (№ 286). Следовательно, в 1892 году была осуществлена первая и, кажется, последняя инсценировка части «Героя нашего времени». Кто же был автором переделки? Это еще предстоит выяснить.

В этом же 1892 году (№ 16) в газете под рубрикой «Новая опера» было опубликовано следующее сообщение: «Петр Ильич Чайковский и Немиревич-Данченко, находясь в Киеве, пишут оперу на тему лермонтовского произведения «Бэла». По литературным источникам известно, что Чайковский действительно собирался писать оперу по «Герою» и даже обсуждал подробности либретто с А. П. Чеховым (Альшванг А. П. И. Чайковский,

М., 1970, с. 558). Таким образом, газета дает нам важные сведения о том, что великий русский композитор не только собирался, но писал эту оперу, однако не с Чеховым, а с В. И. Немировичем-Данченко.

Известно, что у выдающегося соратника К. С. Станиславского Владимира Немировича-Данченко был брат — Василий Иванович — довольно популярный в свое время романист, много писавший о Кавказе. Мы склоняемся к мнению, что либреттистом Чайковского был именно Василий Иванович, произведения которого отмечены влиянием творчества великого русского поэта.

Подтверждением нашего мнения может послужить еще одно сообщение «Кавказа». В мае 1887 года в разделе хроники русской жизни (№ 115) приводится сообщение о том, что «романист В. И. Немирович-Данченко пишет роман «В горных бурях». Содержание романа: борьба русских с племенами Кавказа в 30—40-е годы. Среди действующих лиц: генерал Ермолов, Лермонтов, Александр Бестужев и другие».

Нами были просмотрены все основные произведения писателя, изучены материалы его жизни, но найти этот роман не удалось, видимо, он так и не был написан.

Не менее любопытен материал, напечатанный в газете «Кавказ» в 1853 году (№ 47), — рассказ штабс-капитана Н. о Лермонтове. Автор воспоминаний, казначей полка, рассказывая о своем знакомстве с Лермонтовым, приходит к выводу, что поэт внешне и внутренне напоминал Печорина. Увы, штабс-капитан сумел сохранить свое инкогнито.

Итак, поиски продолжаются. Мы надеемся, что с помощью газеты «Кавказ» удастся найти интересные факты, связанные с жизнью и творчеством писателей XIX века, освещающие новые аспекты братской дружбы русского и грузинского народов.



**ПИСЬМА
ИЗ
СТРАНЫ
ДЕТСТВА**

В 1972 году в Государственный музей В. В. Маяковского в Москве поступил уникальный по своей ценности семейный архив. Его передала в дар старшая сестра поэта — Людмила Владимировна Маяковская. Это один из интереснейших архивов по содержанию, по составу находящихся в нем документов, по объему собранных материалов. Он насчитывает 20 000 предметов. Самый ранний документ — Подорожная грамота (1822), выданная прадеду поэта Константину Кирилловичу Маяковскому. Самый поздний — дневник Людмилы Владимировны (1972).

Материалы семейного архива Маяковских очень разнообразны: мебель, сделанная в Багдади по рисункам отца поэта — Владимира Константиновича, семейная библиотека, автографы и письма Владимира Маяковского, фотографии разных лет.

Особое место в архиве занимает эпистолярное наследие. Более 7 000 писем сохранили Маяковские (1892—1972) — своеобразное свидетельство эпохи за 80 лет.

Эти письма интересны во многих отношениях. Прежде всего, они вносят весьма существенные уточнения в наше знание биографии поэта, позволяют также дополнить многие уже известные эпизоды творческой жизни Маяковского, содержат множество новых фактов, впервые вводимых в научный оборот.

Мы предлагаем небольшую подборку из шести неопубликованных писем семейного архива Маяковских. Их автор — сестра поэта Ольга Владимировна. Она родилась в Грузии в селении Багдади в

1890 году¹ и в детские годы была постоянным участником игр, дел, забот своего младшего брата. И на протяжении почти сорока лет, до самой смерти Владимира Маяковского, она была одним из самых близких ему людей — близких не только в родственном отношении, но по духу, по глубокому пониманию его творческих интересов. После трагического апреля 1930 года Ольга Владимировна, ее старшая сестра и мать взяли на себя многие заботы по сохранению и собиранию литературного наследия Маяковского, приняли также активное участие в организации мемориальных музеев в Багдади² и Москве.

¹ Училась в Тифлисском (1899—1901) и Кутаисском (1901 — 1906) учебных заведениях. После переезда семьи в Москву (1906) закончила восьмой класс частной гимназии Ежовой. В 1909—1922 годах работала на Московском почтамте в экспедиторском отделе. В 1923 году по просьбе брата Ольга Владимировна окончила счетоводческие курсы бухгалтерии и коммерческих знаний и в качестве технического секретаря стала работать в журнале «Лес», редактором и организатором которого был Маяковский. После смерти брата работала в правлении Союза советских архитекторов. Скончалась 30 мая 1949 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

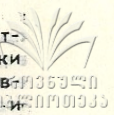
² Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1940 года село Багдади и Багдадский район переименованы соответственно в

Отобранные для публикации письма Ольги Владимировны представляют значительный биографический и чисто читательский интерес. О тринадцати годах жизни Владимира Маяковского в Грузии мы знаем по опубликованным ранее воспоминаниям матери и старшей сестры. Предлагаемые письма Ольги Владимировны дополняют эти воспоминания новыми сведениями и фактами.

Вспоминая о своей жизни в Грузии, все Маяковские не раз указывали на то, какую роль сыграло в их биографии пребывание здесь. Они любили эту землю, и она им отвечала взаимностью.

«Вчера получили твое письмо, — писала Александра Алексеевна, мать поэта, — и читали его с большим интересом. Очень приятно, что так тепло отзываются о Володе, все-таки они его считают своим, как уроженца Грузии. Рада за тебя, что тебя везде хорошо принимают и оказывают внимание...» Приведем строки из письма Ольги Владимировны, продолжающие эту же мысль: «...мы гордимся такой землей, где «...сор сегодня гниет, где только земля простая, на сажень вижу из-под нее Коммуны дома прорастают...» Так и мы, помним все эти имеретинские захолюстья и рады, что туда проникает благоустройство и наши достижения. И как не любить эту землю, если среди людей встречаются такие, которые знают и помнят багдадского лесничего

Маяковски и Маяковский район. В 1941 году в Багдади был открыт музей Маяковского.



Маяковского и тепло отзываются.

И вообще, что говорить, в Грузии мы свои люди...»¹.

Существует запись в дневнике, которую Людмила Владимировна сделала в 1931 году, после первого посещения Багдади: «...В Багдади наша семья жила с 1889 до 1905 г., когда мы последний раз провели лето с отцом. 19 февраля 1906 г. он умер. Ему было 49 лет, и до этого он почти никогда серьезно не болел. Этот трагический конец остался на всю жизнь тяжелым воспоминанием, перевернувшим всю нашу дальнейшую жизнь.

Прошло двадцать шесть лет, прежде чем я преодолела в себе чувство, которое мешало мне дотронуться до этих больших воспоминаний. После такого же трагического переживания, связанного с гибелью Володи, меня потянуло на родину, к истокам жизни Володи, к тем корням, которые питали нас всю жизнь. Трудно описать волнение, охватившее меня по мере приближения к Багдади. Казалось, что исчезли все люди, все изменилось до немыслимости, исчезли последние воспоминания о нашей жизни в Багдади. Предположения мои не оправдались. В Багдади те же прозрачные небеса, перед которыми Володя считал себя в долгу, те же пышно разросшиеся леса, покрывающие теснящиеся вдали горы, те же изумрудные виноградники, так же бурлят воды Ханисцхали. Нет только дорогих людей, нет нашей сплоченной семьи, нет детства и юности...»

С этими мыслями и чувствами перекликаются строки из письма Ольги Владимировны: «...хочется взять билет и ехать в Багдади. Ходить по нергиевским дорожкам, есть ежевику и слушать родное «гамарджоба». Наше детство — это сказка нашей жизни. Последняя защита Володя, и тот ушел...»².

И вот в сентябре 1933 года, после двадцатилетней разлуки, Ольга Владимировна тоже поехала в Грузию. Эти поездки стали совершаться ежегодно. В семейном архиве сохранилось большое количество писем, отправленных из родных мест. Кругом, затронутых в них, очень широк. Ольга Владимировна делится дорожными впечатлениями, вспоминает друзей и события юности, рассказывает о своих встречах, собирает материал для написания биографии брата.

«Вчера разговорилась с тетей, и она вспомнила, что мама писала стихи и что у нее долго хранилось стихотворение, посвященное дню ее свадьбы, и что несколько лет назад она его уничтожила. Я очень досадовала. Говорила, что мама никому не показывала и сердилась, если кто-нибудь подглядывал. Вечная скромность мамы»³

В другом письме вспоминает свои встречи с Тицианом Табидзе: «...Пошли к Тициану Табидзе. Табидзе очень радостно нас принял, вспоминая Володю, читал нам на грузинском языке стихотворение, которое напечатано в сборнике, что нам недавно

¹ 1933, 25 сентября. Тифлис — Москва.

² 1932, 4 августа. Москва — Кутаис.

³ 1933, 8 сентября. Тифлис — Москва.

прислали. Потом дал переведенное на русский язык, я его Вам пришлю. Говорил, что он переводил на грузинский язык «Мистерию-Буфф», но что это устарело и он должен перевести теперь в новом варианте. Мы посидели у Табидзе с час, он сидел за большим круглым столом, обложенным разными грузинскими книжками и рукописями. В Тифлисе готовятся два сборника избранных Володиных произведений¹. В другом письме Людмиле Владимировне она восклицает: «...Интересно, Паоло Яшвили такой же красивый, как я его видела в Кутаисе, когда он мне в кафе прислал записку: «Скажите сестрам Люде и Оле...»². Она пишет о Грузии как о чем-то близком, своем, кровном. Ее письма густо населены: на страницах мелькают имена многочисленных друзей юности, людей, знавших багдадского лесничего и гимназиста Владимира Маяковского.

Как живое, яркое, наполненное большими и малыми событиями, встречами, встало детство Маяковского. Впечатление такое, что мы тоже гостили в доме Маяковских на берегу Ханисцхали, бродили по Багдади и его окрестностям. И хотя письма часто писались наскоро, с целью лишь зафиксировать мысли, дела, встречи, настроения, но этот калейдоскоп упоминаемых имен и событий дает несомненно большой материал для уточнения ряда конкрет-

¹ 1936, 11 августа. Тифлис — Москва.

² 1932, 21 августа, Москва — Тифлис.

ных фактов в биографии поэта.

Ольга Владимировна сумела впечатляюще изобразить лица и события, свидетелем которых была. Свои наблюдения, связанные с характером, взглядами брата, она хранила в памяти, делясь воспоминаниями в письмах. И то обстоятельство, что ее воспоминания о нем так никогда и не были напечатаны, делает ее письма документальным материалом первостепенной важности. Написанные полвека назад, они отвечают сегодняшней настоятельной потребности в познании Маяковского. И поэтому семейная переписка, которая может казаться свидетельством частного значения, обретает сегодня неожиданно широкий смысл.

О том, что Ольга Владимировне довелось пережить в дни своего первого приезда на родину в 1933 году, свидетельствуют строки ее писем к матери и старшей сестре. В них не только личные переживания, но и много строк-воспоминаний.

Все публикуемые впервые письма — автографы. Печатаются в отрывках, опущена в основном «бытовая тематика», купюры обозначаются отточием. Все письма имеют авторскую датировку.

В поездке Ольгу Владимировну сопровождала ее двоюродная сестра — Вера Николаевна Агачева.

В этой статье, предваряющей публикацию, использованы неопубликованные письма дневники, воспоминания из архива семьи Маяковских.

Ольга ЗЕМЛЯКОВА



Дорогие мамочка и Людочка!

(...) Позавчера вечером были на фуникулере, и, представьте себе, встретила студента, который жил у нас 20 лет назад, и он сразу меня узнал. Мы очень мило провели время, жил он на Владимирро-долгоруковской¹, просил вам передать привет. Когда покупали билет с Верой, встретила Се-верьяна Гогоберидзе, был такой красивый студент, который бывал у нас на Козихинском², очень сердечно встретились, очень вам кланяется. Вчера днем ходила к Бебутову³, сидела у него с час, очень мило с ним беседовали. Вспоминал, как он со Шкловским ездил в Багдади, говорил, что эту поездку отразил Шкловский в своей статье⁴, кажется, пойдет на грузинском языке. Я говорила, что Люда читала «Свет в лесу» и что Шкловский обещал внести некоторые дополнения и изменения и вообще обработать материал. Он говорил, что скоро выйдет грузинская энциклопедия, куда войдет перечень Володиных произведений, переведенных на грузинский язык, и книги, вышедшие в Грузии. Узнала, что в Ленинграде вы-шла книга Лившица «Полутораглазый стрелец», в которой есть о Володе⁵. Говорила я там с некто Эльснером, который жил в Киеве и знает всю футуристическую компанию Бурлюка, Каменского и др. Я просила его дать какой-нибудь материал тех времен, говорит, что в гражданскую войну у него все по-гибло в Киеве, а то, что он помнит — все рассказал Лив-шицу и он использовал этот материал. Потом сказали, что Зоценко в «Звезде» написал статью, где тоже касается Во-лоди, постарайся эти книги найти в Москве. Материал со-бирается вяло, надо подтолкнуть это дело. Видела Володи-ных друзей — Кико Мурусидзе, Колю Андриадзе, постара-юсь найти Ефрема Закарая⁶. Я хочу устроить вечер воспо-минаний о Володе, и все, что они вспомнят, запишу.

Вообще приятно и радостно встречают, только и пережи-ваешь такие моменты у нас на Кавказе...

Теперь волнуясь о приближении совсем родных мест...

№ 2.

1933, сентября 13.

Дорогие мамочка и Людочка!

Итак, я вам написала последнее письмо из Тифлиса, за несколько часов до отхода поезда...

Поехали в мягком вагоне. Когда мы вошли с Верой в купе, то там уже сидело четверо мужчин и мы были немного обескуражены, но я была решительна и поставила свои вещи, сказала, что разберемся. Потом пошла к окнам прощаться. Не успела я отъехать немного, как ко мне подошел довольно интересный грузин и спросил: «Не Оля ли я Маяковская?» Я очень удивилась, оказывается, это сын старшей сестры Мурусидзе и жил он в детстве против нас, в 1916 году он был в Москве и заходил к нам, больше не видел, говорит, что узнал по голосу и по манерам... Потом я разговорилась с другим попутчиком, он тоже спросил меня, не сестра ли я Маяковского, я опять удивилась. Оказалось, что это заключение они сделали потому, что я так смело себя держала. И сказали: «...что по голосу и манерам, не иначе как сестра Маяковского, что смелая и решительная!» Никто из этих людей меня никогда не видел.

Ну, вот так я поехала с замирающим сердцем в родные края, среди гор и дорогих земляков. Было жаль, что темнело и не видно окружающую природу, во все хотелось всмотреться и унести навсегда в своих глазах... не хотелось спать, все ходила к окну, всматривалась в силуэты гор, проезжали мостики, журчали ручейки, все это отдавалось эхом далекого, родного. Вы и без слов поймете меня!..

Продолжаю это письмо уже в Багдади. Пишу вам и невольно отрываюсь от письма, шумит сказочная Ханисцхали, чистая, прозрачная от синевы гор, отливает серебром. Посмотришь, вздохнешь, закусишь губу, проглотишь слезу и идишь дальше. Знаю, с каким трепетом будете читать вы это письмо. А особенно мамочка, которая так давно все это видела. Здесь чудно, здесь могут рождаться большие мысли...

Ну дальше! Когда совсем стемнело и стал моросить дождь, я отошла от окна. Утром проезжали Рионгэс, очень интересно, в трущобах вдруг проложили огромные трубы и идет кипучая работа, скоро откроют. Так использовали необузданную страсть Куры и Риона. В Кутаис приехали без дождя. Вокзальчик такой же маленький, улицы, мощенные камнем. Все так же, как было в день отъезда в 1906 году⁷. Только, когда подъезжали в Кутаису, он показался мне немного шире, разбросанным, и кое-где виднелись трубы. Было приятно, что и сюда проникает жизнь фабрик и заводов..

Представила нашу гимназическую форму с Володей, папу в форме лесничего, и вся жизнь в мгновение промелькнула в моем мозгу. Сдерживаю слезы... И вот, где когда-то бес-

численное число раз ходили к дилижансу, теперь гостиница
гранд-отель. Удивительно, до чего все близко и какие кро-
шечные кварталы, два-три дома и все, а когда-то после Багда-
ди казался большим городом...

Пошли к Чианели⁸. Там же был художник Табидзе, кото-
рый работает в Москве в газетах. Рассказали, что в Кутаисе
проводился вечер в память Володи в годовщину смерти.

От Чианели мы с Верой пошли на кладбище. Шли до-
рогой, и вспоминалось грустное путешествие и аналогичное в
Москве...

Могилу папы нашли быстро, дорогой я хотела купить
цветы, увидела в одном саду и попросила продать. Женщи-
на мне сейчас же нарвала и ни за что не взяла денег. Какой-
то особенно трогательный этот грузинский народ, бескорыст-
ный...

Было бесконечно грустно в Москве и здесь видеть фа-
милию «Маяковский»... Окинула с кладбища утопающий в
зелени Кутаис, и не знаю на сколько лет покинула дорожную
могилу... Пишу вам почти что дневник, так что сохраните
мой письма, сама прочитаю с удовольствием...

№ 3.

1933, сентября 15.

Кутаис -- Москва

Дорогие мамочка и Людочка!

Живу так, что, право, нет свободного времени, вам смеш-
но и удивляетесь, а я вот мечтаю присесть на часок, чтоб
собраться с мыслями.

Ну вот, дорогие мои, продолжаю вам свой дневник-
письмо, знаю, что вас интересует каждая мелочь, а писать
подробно я умею, почему же не доставить вам это удоволь-
ствие?! После обеда в гостинице я попросила Верочку не
сердиться и сказала, что мне хочется немного походить по
Бульвару, походить по городу одной. Я прошла по Бульвару,
посмотрела памятник Ленину, правду ты говорила, что не-
удачно поставлен. Зелень и всякие барельефы закрывают
фигуру Ленина, тогда как она должна являться центральной...
Должно быть, хорош будет памятник Ленину Лавинского⁹, е-
сли его еще хорошо поставят. Потом я обежала весь квартал,
дошла до своей гимназии, там Исполком, двери все настежь,
я вошла, взглянула в зал, почему-то сразу вспомнила какие-то
длительные молебны и как со мной было дурно и меня вы-
водили, в тот год у меня было сильное малокровие. Потом

пошла по пустым коридорам, вспомнила, как как-то вызвали папу к начальнице. Пришли мы туда с Володей, папа в сюртуке. Мы сидели в коридоре и совещались, какой выйдет папа, если сердитый, то может не взять пить лимонад и есть пончики. Папа вышел веселый и при нас заявил начальнице, чтоб по таким пустякам его не вызывали, что он раз в неделю ездит домой и хочет быть в семье, а что тон и дома у меня такой. Оказывается, не нравилось, что я не стесняюсь всем отвечаю, папа говорит, что она же ничего не украла, никого не убила и учится хорошо, и повел нас с Володей пить лимонад, мы с Володей были в восторге, что наш папа умнее начальницы. И так вот промелькнули гимназические годы. Вышла на улицу и пошла к мужской гимназии. Здесь была только одна зеленая молодежь, которая, конечно, не знала ни папу, ни Володю, а если знала Володю, то только по его выступлениям или, вернее, книгам. Так что спросить было некого. Вошла во двор посмотреть чинару. Она стоит очень почетно, на ней доска, охранная грамота, как исторического дерева.

(...) Кутаис мало вырос. Мы пережили здесь бурю 1905 года, то время было живым и захватывающим.

(...) Я долго не могла заснуть, было от всего грустно и, кроме того, я, оказывается, не люблю гостиничную жизнь, люблю дом и заботу близких. Думала, что и на Володю эта его постоянная бродяжничья жизнь, когда его заставляла болезнь в гостиницах и всякие неудачи и прочее, плохо отзывалась на нем. С такими мыслями я заснула. В следующем письме опишу вам Багдади. (...).

№ 4.

1933, сентября 17.
Багдади — Москва.

Дорогие мамочка и Людочка!

Немного страшно, что мои письма немного отстают от впечатлений, но я хожу от всего какая-то обалдевшая и все осознаю после, а кроме того, я находилась все время в какой-то гонке. Я вам писала последнее письмо из Кутаиса, а про Багдади еще не писала. (...).

12-го утром мы рано проснулись с Верочкой и вдруг слышим — идет дождь, были ужасно огорчены, но к 12 он перестал и мы поехали в приличную погоду. Проехали Балаханскую, узнала дом Глушковских, потом выехали в Рионский лес, сердце сжималось при виде знакомого пейзажа и

от ощущения, что по этой же земле много-много раз проезжали наши дорогие папа и Володя.

За городом Кутаис застраивается больше, Чианели рассказывал нам о строящихся фабриках, больнице...

...С трудом сдерживала слезы, но на пароме не выдержала, слишком все близкое, дорогое и такое вчерашнее, а не далекое прошлое. Так же тянулись канаты, арбы дожидались своей переправы, слышались грузинские возгласы, но только на паром въехал не дилижанс, а авто. Не было со мной моих дорогих родных, веселого и всегда шутившего и угощавшего в дороге папы. Ну, как не сжаться сердцу. Потом показался б. Анановский дом, въехали в б. Анановский лес, его значительно вырубил около дороги, горизонт стал шире, нет того зеленого свода, в который въезжали после открытой жаркой дороги из Персаты и Дыми. Вспомнила, как в Анановском лесу убежал Угрюмчик и я бегала его догонять. Симпатичный был песик. Хотели даже в Москву его брать, тоже бы пришлось догонять.

Люда правду говорила, что как только приеду, все-все вспомню. Я ехала в страшном ажиотаже, говорила все время без умолку, иногда только прерывала, голос обрывался, капились слезы, и я продолжала дальше чуть ли не до хрипоты. В Дыми я узнала дорогу к Антону, в Персатах — к Барановым, все, оказывается, правильно, и Чианели умиленно улыбался, а Вера удивлялась моей памяти. Подъезжая к Багдадам, я рассказывала Чианели, как мы с Володей с 2—3 собаками выходили встречать папу, нас научили слушать землю, прильнувши ухом, и мы с Володей по очереди слушали шум дилижанса, ложились на землю, а собаки от сочувствия лизали нам другое свободное ухо.

Въехали в Багдади, базар такой же, как был в 1906 году, только, конечно, не те лавки. Разных Сипито заменили кооперации, а общий вид тот же. Моментально в мозгу пробежала дорога в крепость, а другая — в Наргиети к папе в будку. Просто жар сделался в голове, жизнь сделалась сплошным кино с близкими и дорогими кадрами, хотелось укусь, ущипнуть себя, чтобы убедиться в собственном присутствии. Хотелось видеть всю семью, как в 1906 году.

Машина подъехала к пролету к Наташе¹⁰, Чианели показал нам дорогу и поехал обратно. Бывший суд — теперь Исполком, почему-то мне казалось или, вернее, я его помнила иначе поставленным...

Мы с Верочкой зашагали по узенькой дорожке, не сле-

шли, ели ежевику, подошли к воротам, догадались, что здесь живет Наташа. Она, конечно, сразу узнала, но говорит, что я была худенькая и беленькая, а теперь «дзалиан тавсуьты», но нос похож на нос отца и потому, присмотревшись, не перепутаешь. Наташенька очень радостно встретила, и пошли смотреть дом, в котором жили, сразу узнала, вспомнила лестницу, по которой летела с козлом и оставила себе на память «пищантную ямочку». Посмотрела на балкон и перила, где когда-то спасла Володю, поймав его за ногу, было это очень тяжело физически, но близость папы и мамы спасли, а теперь нас никого не было около, никто не мог спасти, очевидно, это должны были сделать кто-то другие, которые не сумели уберечь его.

Я оглянулась кругом, вид был изумительный: направо ущелье с Нерггетами, внизу река, теперь проложен мост, вместо полянки растет кукуруза. Дом обветшал, кое-где обновлен. Внизу под домом теперь пусто, а раньше стояла винодавильня, мы с Володей очень любили присутствовать на этой церемонии, когда совершалось омовение ног и мы пили только что подавленное сладкое вино. Очень было вкусно! Весь масштаб был мал, хотелось все быстренько обегать, но ноги были не те, проходившие десятки лет, и к тому же битые-пербитые. Наташа засуетилась, повела нас в виноградник, и мы с Верочкой, что называется, дорвались до винограда, одна кисточка была лучше другой. Потом сели обедать. Наташа зажарила цыпленка с кавказской подливкой, горячие хачапури, чады, сыр. Курицу старались есть вилкой, чтоб не откусить себе пальцы, так было все изумительно вкусно. После обеда пошли вниз через мост к мельнице. Долго стояла я, смотрела на бегущую под колеса воду. Мы вошли вовнутрь, я стала с удовольствием вдыхать аромат молотой кукурузы, как духи Коти.

Мельник был старик, и еще были двое, спросили, что нам нужно. Я им сказала, кто я, они помнят папу, хотя и были подростками, очень хорошо вспоминали и говорили, что их родные жалели папу. Кто-то принес кукурузу, пустили мельницу, колеса с шумом завертелись. Мы с Володей очень любили ходить на мельницу, слушали шум воды и колес, фабрик и заводов около нас не было, и Володе нравилось здесь, т. е. здесь была жизнь. Потом здесь же, около мельницы, были мостики с рискованными переходами. Это преодоление трудностей нам тоже нравилось. Распровавшись, пошли немного посидеть на берегу Ханисцхали. Говорить не хотелось,

солнце заходило, и в уши лезли знакомые слова... Еще вспоминалось папину: «Глядя на луч..., плохой тот мельник должен быть...»

Поднялись гаверх, и мне захотелось пойти по базару. Хотела повидать Нико, но он больше не служит, а живет в Персатах. С базара пошли по второй улице. Я сказала, что мне нужно снять чури, и мы стали заглядывать во все дворы, наконец увидели в одном дворе перевернутое книзу дном. Пошли узнать, можно ли перевернуть. Разговорились, конечно, знают папу, фамилия их Пурцеладзе, тоже сейчас же появились стулья, бутылки вина и фрукты, и пошло «ницоц-хлети»...

Чури обещали перевернуть.

Я, как попала на багдадскую территорию, все время говорила по-грузински, сначала медленно, а потом все быстрее брала темп грузинской речи. Говорили, что я долго думала, прежде чем начать говорить. Я же это объясняла тем, что я поумнела теперь, потому думаю, а раньше была глухой девочкой. Они смеялись.

Так закончился первый багдадский день, жаль, что их мало.

№ 5.

1933, сентября 19.

Багдади—Москва.

Дорогие мамочка и Людочка!

Сегодня послала вам заказное письмо, хочется, чтоб вы их все получили, т. к. я свое путешествие описываю вроде дневника.

На другой день я проснулась в Багдади рано, и не верилось, что это утро на родине, скорей хотелось походить везде, успеть побольше посмотреть. После завтрака я пошла на базар к фотографу. Договорились сняться у чури. Хозяева, конечно, перевернули чури и все приготовили к нашему приходу. Верочке очень захотелось со мной сняться. Наташу тоже пригласили, получилась приятная группа, кроме того мы отсняли величину чури, я попросила хозяйскую девочку влезть вовнутрь, они были в восторге. Посылаю вам карточку, негатив я взяла.

После съемки пошли по знакомой дорожке в Крепость. Дорогой щемило сердце, даже трудно было идти, казалось, что Бастон и Угрюмчик вертятся под ногами. Дорога справа очень обвалилась, стала узкая и близко пропасть, если б так

было раньше, нас бы с Володей, конечно, не пускали ^{одних}. В Крепость теперь голубые ворота, которых не было раньше. Вот налево выступ, здесь были качели, где качались мы с Володей, а на валу мирно спали Бастончик, Роги и Угрюмчик. Тут росли лхемали, ноги не шли дальше...

Сейчас, когда пишу вам об этом, думаю, что это была не я, а мне рассказывали об этом. Немного успокоившись, пошли дальше в дом. Хозяин, т. е. агроном, живущий в этом доме, очень мило нас принял. Пристройка немного изменила вход, лестница короче и не в ту сторону. Все вспомнилось до мельчайших подробностей, только дом теперь не обвит плющом, как раньше, когда он лез в окно Людиной комнаты. Все удивлялись, как я все помню, где какая дверь была, которую теперь заделали. Особенно в канцелярии папин стол, Антона и все-все, что здесь было: билеты, балкон, наши детские игры, спуск по гранатовой роще, ну как не прослезиться!

Потом спустились в подвал, здесь когда-то пили маджары, а над головой висела целая вереница летучих мышей...

Окинув прощальным взглядом когда-то родной дом, мы пошли опять через Багдади. Не знаю, на сколько простились, может быть навсегда...

Пошли дальше по направлению к Нергиетам, даже вспомнилось, где были большие орешники, заворотики, мостики. Постояли на мосту, представилась папина карточка, снятая на этом самом месте. Ханисцхали как-то обмелела, переменяла свое русло, стала шире, и много каменных берегов, с моста пошли к Нергиетам. По дороге встретили двух женщин, одна из них была пожилой и что-то показалась мне знакомой. Я нарочно спросила: «Далеко ли Нергиеты?» Она мне ответила, что я уже в Нергиетах, и стала спрашивать, кто я. Конечно, пошли объятия и поцелуи, оказалась Христина Кучухидзе. Пошли дальше. Опять встретили двух мужчин, один из них пожилой, а другой средних лет. Я опять спросила, чтоб заговорить: «Далеко ли лесная сторожка?» Поинтересовались, зачем мне, я сказала, что когда-то здесь служил мой отец. Вдруг другой, средних лет, закричал: «Олия, Олия!» и пошел мне навстречу. Оказывается — это Серапион, сын Нестора Робакидзе, страшно мне обрадовался и просил обязательно зайти. Даже не попрощался, ждал на обратном пути.

Пошли дальше, лесная сторожка теперь слева, а не там, где была у папы, а там какие-то жилые домики. Я подошла к одному из них, по-моему, это переделанная будка, слишком знаком был спуск к речке, где мы на горке с Володей соби-

рали лесную клубнику и скрывали друг от друга клубничные уголки, соревновались, кто больше наберет. Мне хотелось дойти до поворота к Нергадзе, где мы жили, а внизу гуляла с Володей. Наконец мы дошли до крутого поворота, и вот здесь ручеек, где мы ловили крабов с Володей, я замывала выпачканные рубашки и платья, а напротив скат, с которого мы с Володей катались. Под мостом лежат, по-моему, даже те же самые камни, по котором мы переходили этот ручеек, мы были маленькими, а он нам казался большим, и каждый раз, вместо того чтобы перейти по мосту, мы старались пробраться по камням. Скат наш оброс мелким кустарником. Здесь мы сели на мостике, дальше идти не хотелось. Вот на этом маленьком кусочке было так много связано с прошлым. К Нергадзе мы решили не заходить, уже вечерело и мы устали, а впереди еще были визиты, и мы пошли обратно.

На обратной дороге уже многие со дворов поглядывали на нас. Очевидно, весть о моем приезде разошлась. Я проходила и раскланивалась с ними, на что опять получала «ицоцхлет» и т. д. «Жизнь хороша и жить хорошо!»

Обратно мы как-то быстрее дошли до моста. Прошли его и пошли к Кучухидзе¹¹. Во дворе был Леван, я его сразу узнала. Леван показал нам комнату, где мы с Володей родились, потом пошли к роднику. Они приглашали остаться, были обижены, что я на такой короткий срок, что Люда обещала приехать на целый месяц, снять комнату, но кто ей в Багдади позволит снимать комнату! Они нас проводили до моста, здесь я опять немного постояла. Здесь мы когда-то снимались с папой и Володей, а также около горы. Вспоминаются все мелочи, связанные с нашим детством.

Постояла в раздумье, куда идти — к Симону Сванидзе или к Робакидзе. К одним направо, к другим налево, и решили к Робакидзе, т. к. у Симона ты была в прошлом году. Сын Робакидзе встретил нас радостно, старики живы, пошли воспоминания, как папа заходил к ним с нами и я отчаянно прыгала через веревку с разбега. Вообще везде меня помнят ужасной шалуней, а Володю более тихим и серьезным. Так прошел день бурных впечатлений, «ицоцхлет» и бесконечных разговоров и воспоминаний. Я говорила очень много, боялась, что потеряю голос, вообще, как я только въехала в Грузию, я все время в каком-то ажиотаже, все время среди людей и страшно много говорю. Вечером я все рассказывала Наташе, говорила на грузинском языке, за день у меня была большая практика и я уже говорила свободно, почти не вспоми-

ная слова. Они меня спрашивали, как Володя стал поэтом, и вот я на грузинском языке рассказала о том, как он был в тюрьме, о встрече с Бурлюками и как он сначала был неприятен мамам...

Я представляю, с каким интересом читаете вы мои письма, особенно мамочка, Люда пережила это в прошлом году...

№ 6.

1933, сентября 22.

Багдади — Москва.

Дорогие мамочка и Людочка!

Прошлое мое письмо — было описание моих похаждений из дома в дом, и если б было время, дома нашлись бы еще... Я забыла написать, что когда мы были в Крепости, агрономша сказала, что собирали деньги на памятник Маяковскому и что она сама дала 5 руб.

Наташа на прощание приготовила вкусный грузинский обед и проводила нас к машине. Окинув последний раз мои родные места, с щемящим сердцем в половине 6-го вечера я покинула Багдади. Присутствие Веры много раз сдерживало меня, чтоб не разразиться в диком вопле. Много силы воли я употребляла, чтоб овладеть собой...

Обратно поехали опять по знакомой дороге, опять Персаты, Дыми, паром, вода разлилась после ночного дождя и наша машина немного застряла в воде, но даже в этом была какая-то прелесть. В Багдадах я на речке нашла серый камень... Из таких камней мы когда-то с Володей делали разные игрушки и буквы; взяла кусок и дорогой лихорадочно стала стругать, но все ломалось, а сколько мы их таскали домой!

По дороге в Кутаис попадалось много арб, и они шаркались от машин, когда шли в Нергиети, везли лес, длинный, и бедные бычки под ужасной тяжестью скользили с гор, у них были необычайно грустные и дорогие мордашки. Когда в последнее время в Москве видишь машины с холодными электрическими глазами, глаза бычков кажутся особенно глубоко вдумчивыми, и думаю, что про них Володя мог написать стихотворение не менее лирическое, чем про лошадь. В Кутаисе опять промелькнула Балахванская. Дважды в этот

день проехала мимо папиной могилы, она теперь видна издали. Потом зашла проститься с Чианели. Он с интересом выслушал меня и обещал поехать в Багдад с группой писателей прочесть небольшой доклад и стихи Володи на грузинском языке и потом постараться, чтоб что-нибудь назвали в честь Володи.

Назавтра пошли с утра обегать все наши дома. пошла в дом на Гегутской и против б. Куринского полка. Везде я с Верой останавливалась во дворах, я ей все объясняла, рассказывала, и снова все вспоминалось...

Пошли в дом Читавы, двор зарос, дом здорово обветшал и совсем не имеет такого вида, как в наши дни, а помню, что он имел шикарный вид. Когда мы вошли и стали рассматривать, постепенно стал выходить народ и смотреть на нас с удивлением, т. к. я заглядывала во все щели. Я по-грузински пошутила, сказала, чтоб не боялись, что мы не воры и ничего не украдем. Они заинтересовались, я сказала, что лет 30—32 (тому назад — О. З.) мы жили в этом доме...

От Читавы пошли мимо госпиталя, по тому пролету, где была госпитальная церковь. Вообще Кутаис определенно похорошел! Даже на перекрестке, где была Мунджиева кондитерская, стоит милиционер в белых перчатках и горло и пластично указывает бедным бычкам, куда везти их арбу. Это получается особенно интересно. Грузовики и автомобили тоже развелись в Кутаисе. Центр стал хорошеньким, и берег Риона тоже замечателен. Щемило сердце, глаза наполнялись слезами... На обратном пути выпили воды у бывшего Лагидзе, посмотрела на Рион, послушала шум, представила, как по мосту по правой стороне я бежала, а Володя по левой. Пришли домой, быстро собрались и поехали на машине через кутаисский лес к Рионгэсу. Бурная разливная река Рион была заключена в цементированное русло и мутно бежала в этом желобке на протяжении многих километров. Жаль было смотреть на укрощенный Рион, но приятно было, что скоро заблестит вся окрестность лампочкой Ильича. Опять невольно вспомнилось, как с папой провожали нас с Людой в Заведение...

В 2 часа 5 мин. мы покинули Кутаис...

Вот видите, как я добросовестно пишу вам, мои дорогие, родные, зная, что вам интересна каждая мелочь о нашей любимой родине...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За первые 9 лет жизни в Москве Маяковские сменили 15 квартир. С 28 августа 1912 г. жили в доме № 12 по Владимиро-долгоруковской улице.

2. Первая квартира семьи Маяковских в Москве. Людмила Владимировна вспоминала: «...По приезде в Москву 7-го августа 1906 г. мы сняли квартиру в районе пролетарского студенчества — дом Ельчинского № 18/11 по Большому Козихинскому переулку...»

3. Бебутов Г. В. — «Ученические годы Владимира Маяковского» — в сб. «Маяковский в Грузии». Тбилиси, изд. «Заря Востока», 1936 г., с. 97.

4. Шкловский В. Б. Очерк «Свет в лесу» написан в апреле 1933 г. Вошел в книжку «Свет в лесу», Тбилиси, «Закгиз», 1934 г.

5. Лившиц Б. «Полутораглазый стрелец». Ленинград, 1933 г.

6. Александра Алексеевна Маяковская вспоминала: «...Володя познакомился с соседями-грузинами, учениками старших классов. Чаще всех заходили к нам Коля Андриадзе, Ефрем Закарая, Кико Мурусидзе. С ними дружила и Оля...»

7. 20 июля 1906 г. семья Маяковских покидает Грузию, уезжает в Москву.

8. Чианели Д. — псевдоним писателя Чхеидзе Д. М. Очерк «В родном селе» — в книге «Дни и встречи», Тбилиси, изд. «Заря Востока», 1963 г., с. 10.

9. Лавинский А. М. — художник, скульптор. Работал в журнале «ЛЕФ».

10. Шарашидзе Н. К. — дочь хозяина дома, где в 1896 году жила семья Маяковских в Багдади.

11. Кучухидзе К. — хозяин дома, в котором родился Владимир Маяковский.

НОВАЯ монография эстонского литературоведа Н. М. Басселя «Проблемы межнациональной общности эстонской советской литературы»¹, изданная на русском языке, по своему значению, несомненно, выходит за рамки одной республики и безусловно вызовет широкий, прежде всего методологический, интерес советских, в том числе грузинских литературоведов, изучающих проблемы взаимодействия и взаимообогащения духовных культур братских народов СССР.

Монография Н. М. Басселя является логическим продолжением предыдущих книг исследователя — «Литературные связи Советской Эстонии» и «Типологические связи эстонской советской литературы с литературами других народов. Художественная проза». Если в первой из них рассматривались контактные взаимосвязи и взаимодействия эстонской советской литературы, а во второй — ее типологические связи с литературами советских народов и народов восточноевропейских стран социализма, то рецензируемая книга является историко-теоретическим и сравнительным исследованием эстонской советской литературы на таких разных уровнях (или разных формах) межнациональной литературной общности, как прибалтийская (т. е. зональная), финно-угорская (т. е. этническая) и всесоюзная (т. е. региональная).

Анализируя эстонскую со-

¹ Н. М. Бассель. «Проблемы межнациональной общности эстонской советской литературы», Таллин, «Ээсти раамат», 1985.

ИЗУЧАЮТСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЩЕНИЯ

ветскую литературу в указанных трех контекстах межнациональной литературной общности, Н. М. Бассель определяет роль и место эстонских авторов в межнациональных стиливых течениях советской литературы, рассматривает научно-методологические принципы изучения различных форм межнациональной общности литератур.

На основе всестороннего анализа богатого фактологического материала Н. М. Бассель приходит к важному теоретическому выводу, согласно которому в лице каждой из трех форм межнациональной литературной общности мы имеем дело с различной модификацией сообщества национальных литератур, причем сама эстонская литература — по месту в образовании и развитии каждой из этих общностей — «смотрится» по-разному. В частности, как показывает автор, в современную эпоху роль и место эстонской литературы в сообществе духовных культур Советской Прибалтики в немалой степени определены отраженным в ней богатым и своеобразным опытом исторического и социального развития эстонского народа, особенно в нынешнем столетии, и одновременно — ярко проявившимися в ней в период развития социализма интеллектуальным началом, усложнением концепции человека, художественно-стилевым многообразием и богатыми возможностями литературы социалистического реализма. В книге убедительно показано и то, что если в досоветскую эпоху «параметры» эстонской литературы были во всех отношениях ближе к латышской, то в со-

ветское время такая же сопотнесенность наблюдается и с литовской литературой.

Что же касается совокупности литератур финно-угорских народов, то, как доказывает автор, в отличие от прибалтийской междокультурной общности, она характеризуется не только исторической и пространственно-географической гетерогенностью, но и типом соотносительности своих «составляющих» — национальных литератур.

Все эти теоретические суждения, подкрепляемые анализом фактологического материала, вызывают большой интерес как сами по себе, так и в методологическом аспекте, поскольку перед советскими исследователями, изучающими межнациональные литературные общности, стоят теоретические проблемы этих общностей, которые успешно решаются на основе осмысления закономерностей развития тех или иных национальных литератур. Поэтому каждый новый шаг в этом направлении не может не привлечь пристального внимания всесоюзного читателя.

Особый интерес у нас вызывает, естественно, часть рецензируемой монографии, посвященная региональной общности, т. е. рассмотрению эстонской литературы в контексте всесоюзного литературного процесса, с точки зрения общности многонациональной советской литературы. Всесторонне анализируя эту важную проблему, Н. М. Бассель апеллирует и к грузинской советской литературе, в частности к творчеству Ч. Амиреджиби, Г. Панджикидзе, О. Чиладзе, В. Габескири и других.

Касаясь современной исто-

рической прозы, исследователь справедливо подчеркивает, что романы Ч. Амиразджиби и О. Чиладзе (как и исторические произведения Ю. Трифонова, Б. Окуджавы, И. Друзэ, Ю. Давыдова, Я. Кресса и др.) обогатили многонациональную советскую литературу произведениями о прошлом, написанными в нравственно - философском ключе, в которых тема исторической памяти народа раскрывается в своей сегодняшней актуальности, а сама форма исторического повествования выступает нередко субъективированной, опосредованной современными приемами художественного исследования личности и движения времени через судьбу человека. Причем характерно, что Н. М. Бассель пытается определить и индивидуальные методы многонациональных советских писателей в сравнительно - типологическом плане. Он соглашается с А. Бочаровым, который считает, что для современной русской литературы характерен роман историко - патриотический или историко-бытовой, для эстонской — историко-диалогический, а для грузинской — мифологически - родовой. Такая концепция, разумеется, в целом не бесспорна, однако стремление автора избежать какой бы то ни было нивелировки достойно всяческой похвалы.

Говоря о художественных произведениях публицистического склада, Бассель приводит слова З. Кедриной о том, что, «если художника интересует в человеке прежде всего характер, человеческая индивидуальность, то публициста интересует тип, представитель определенной общественной

группы», что и определяет исходные позиции писателя и публициста в подходе к решению проблем образа. Н. М. Бассель подтверждает это ссылкой на произведения Л. Славина, Б. Полевого, А. Чаковского, Г. Панджикидзе, В. Тендрякова, В. Липатова, С. Залыгина, П. Куусберга и других.

Интересна и возможность типологического сравнения пьес Э. Раннета с произведениями таких драматургов, как Н. Вирта, В. Минко, В. Габескирия и другие.

Разумеется, круг грузинских советских писателей в контексте рассматриваемых автором рецензируемой книги важных проблем мог бы быть гораздо шире, да и произведения их могли бы дать немало интересного для общетеоретических выводов. Думается, что Н. М. Бассель, глубоко разбирающийся в закономерностях и специфических особенностях многонациональной советской литературы и, в частности, современной грузинской духовной культуры, будет в дальнейшем более широко вводить ее достижения (как и достижения закавказских литератур вообще) в орбиту своих исследований в соотношении как с эстонской, так и с другими братскими литературами.

Рецензируемая книга является ценным вкладом в советскую литературоведческую науку. Она убедительно свидетельствует о плодотворности развития зональных, языково - этнических и общесоюзно - региональных связей национальных советских литератур, способствующих их прогрессу и обогащению, о перспективности дальнейше-

го расширения и совершенствования таких связей на подлинно интернациональной основе, о важности гармонического сочетания национального с интернациональным на всех уровнях межлитературной общности, наконец, о том, сколь важную, поистине незаменимую роль призвано играть искусство художественного слова в духовном общении между народами, в их идейном и эстетическом сближении.

Выводы и заключения Н. М. Басселя опираются на послед-

ние достижения советского литературоведения (в этом числе и на суждения Аса-тиани), подкрепляются вдумчивым и серьезным осмыслением многих важных явлений и процессов, имеют большое общетеоретическое значение. Именно поэтому рецензируемая монография, вне всякого сомнения, с интересом будет встречена не только специалистами, но и широкими кругами читателей.

Игорь БОГОМОЛОВ

ХРОНИКА

«НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА...»

В пионерском городке «Мзиури» столицы Грузии состоялось торжественное открытие мемориала Нодара Думбадзе.

На открытии мемориала присутствовали товарищи Д. И. Патишвили, В. И. Алавидзе, Г. А. Анчабадзе, Г. Н. Енукидзе, А. Н. Инаури, Г. Д. Мгеладзе, Т. В. Ростиашвили, О. Е. Черкезия, Н. А. Читанава, З. А. Чхеидзе, Г. Г. Гумбаридзе, Т. И. Мосашвили, Н. Р. Саджая.

Торжественный митинг вступительным словом открыл первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии Д. Маргвелидзе. На нем также выступил председатель правления Союза пи-

сателей Грузии Г. Цицишвили. Городок «Мзиури» в этот день превратился в многогранный театр, в котором по зеленым склонам живописными группами расположил и с школьники, студенты, представители общественности города.

А центром этого импровизированного театра стала сцена, на которой, словно живые, выросли герои популярного произведения Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», воплощенные в скульптурной композиции (автор — скульптор М. Бердзенишвили).

Долгая, нескончаемая жизнь предстоит Н. Думбадзе, его замечательным героям, украсившим городок «Мзиури».



ПОЭТ Рауль Чилачава живёт в Киеве. Он много и успешно переводит на украинский язык грузинских поэтов и на грузинский — украинских. В сборник «В гостях и дома», выпущенный издательством «Мерани», вошли оригинальные стихотворения поэта в переводе на русский язык.

«Есть целый мир в душе твоей», — сказал Тютчев в одном из своих стихотворений. Именно такой самобытный мир открывается перед нами при знакомстве с поэзией Р. Чилачава. Мир красивый, интимный, тонкий и проникновенный.

ТЕБЕ. О ГРУЗИЯ!

МАЯКОВСКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Торжественно прошло открытие Дней Маяковского в Кутаиси. Участники праздника посетили школу, в которой учился В. Маяковский, осмотрели класс-музей, побывали на предприятиях города. В городском театре состоялся интернациональный вечер поэзии.

Затем делегация писателей и представители общественности отправились на родину трибуна революции — в город Маяковский. Здесь у Дома-музея В. В. Маяковского состоялся поэтический митинг, на котором выступили секретари правления Союза писателей Грузии Дж. Чарквиани и Л. Табукашвили и другие.

В Днях Маяковского приняли участие секретарь ЦК КП Грузии Г. Н. Енукидзе, первый секретарь Кутаисского горкома партии Т. В. Лордкипанидзе.

В программу Дней впервые было включено проведение творческого семинара, который прошел в кутаисском Доме писателя под руководством секретаря правления Союза писателей Грузии Л. Табукашвили.

Практическим итогом семинара было заключение договора о творческом сотрудничестве между секциями по работе с молодыми литераторами Харьковской и Кутаисской писательских организаций.

В силу жизненных обстоятельств, поэтической и человеческой судьбы Р. Чилачава является связующим звеном между двумя родственными по духу национальными культурами, что придает его творчеству своеобразие и самобытность.

Поэт искренне предан своему труду. Он прекрасно осознает социальное значение переводческого дела, которому отдал свой талант и свое сердце. Его мысли и настроения, облекаясь в поэтическую форму, становятся достоянием широкого читателя.

Поэту-лирику присуще особое творческое видение. В своих стихотворениях Р. Чилачава удачно использует неожиданность поворота темы. Его переживания, настроения выходят за узкие рамки глубоко интимных чувств благодаря поэтическим обобщениям, ссипричастности общечеловеческому. События сегодняшнего дня у него перекликаются с прошлым, таким образом возникает своеобразный мост между читателем, временем и поэтом.

Это дает читателю возможность заглянуть за строку стиха, проникнуть во второй план стихотворения. Поэт никогда не копирует жизнь. Он воссоздает ее в слове собственными формами бытия...

Каждое из стихотворений Р. Чилачава — грань созданного им мира. Законы строгого отбора, образно-художественной необходимости диктуют и определяют тематику и стиль сборника в целом.

И тишина отпугивает сон...
О телефон, загадочная

птица!

Зачем тебя придумал

Эдисон?

Простота — характерная

черта стихов поэта, где графическая четкость, напевность и ритмичность выделяют в стихе главное. В стихах Р. Чилачава нет ярких, самодовлеющих образов-тропов. Пестрота ассоциаций не отвлекает внимания читателя. Стих поэта композиционно строг. В каждом из них создается цельный зрительный образ.

Я уважаю тех, кто плеч
не горбил,
Кто в трудный час с
дороги не свернул,
Кто белую палатку
личной скорби
Перед чужим страданием
распахнул.

Поэт не мыслит себя без Грузии. Она — основа, мера его оценок. Что бы он ни делал: пишет ли, переводит ли, читает или мечтает, мысли о родине не оставляют его. И в стихах, и в жизни он свято чтит ее.

Я всей душой с тобою,
Украина,
Моя любовь совсем не
беспричинна,
Доверчивость несколько
не проста.
Но Грузия влечет меня
всечасно
И каждый миг я различаю
ясно,
Мать местности, родимые
места.

Михаил РАЗМАДЗЕ

К 80-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А. М. БАЛАНЧИВАДЗЕ

Выдающемуся советскому композитору, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственных премий СССР и Грузинской ССР, народному артисту СССР, профессору А. М. Баланчивадзе исполнилось 80 лет. Редакция журнала поздравляет Андрея Мелитоновича со славным юбилеем, желает долгих лет жизни, многих творческих свершений и большого человеческого счастья.

Гулбат ТОРАДЗЕ

МЭТР ГРУЗИНСКОЙ МУЗЫКИ

КОГДА мы говорим об Андрее Мелитоновиче Баланчивадзе, то часто прибегаем к слову «первый», причем нередко в сочетании со словом «лучший». Действительно, он первым в 1936 году написал грузинский балет «Сердце гор», обошедший многие сцены страны, первым в 1944 году создал совершенный образец грузинской симфонии, а почти десятью годами раньше — первый грузинский фортепианный концерт. Его Третий («Юношеский») фортепианный концерт выдержал двенадцать изданий, а такое, малоизвестное любителям музыки сочинение, как Концертино для фагота, издано в Москве десятитысячным тиражом и вошло в педагогический репертуар. Этот список можно было бы продолжить.

А. Баланчивадзе принадлежит к первому поколению грузинских советских композиторов, заложивших прочный фундамент современной грузинской музыки. Яркое своеобразие музыкального языка, в котором народно-национальные основы находят глубоко индивидуальное претворение, мелодическая ясность и напевность музыки, светлое, жизнерадостное мироощущение, отточенность и изящество музыкальной формы

обусловили широкую известность лучших сочинений композитора. Их отличительная черта — сочетание лирико-поэтических и мужественно-эпических музыкальных образов, тонкий художественный вкус.

Годы учебы в Ленинградской консерватории, ставшей для Баланчивадзе, как и для многих других грузинских музыкантов, своего рода «альма-матер», были не только незабываемыми, но и плодотворнейшими для художественного и профессионального формирования будущего композитора. С огромным уважением пишет он в своих воспоминаниях, посвященных старейшему музыкальному вузу страны, о классике русской музыки, тогдашнем ректоре консерватории А. Глазунове, о своих педагогах — А. Житомирском, М. Юдиной, В. Щербачеве, Х. Кушнареве, П. Рязанове. Здесь зародилась дружба А. Баланчивадзе со своим сверстником — Д. Шостаковичем, продолжавшаяся почти полвека, о чем свидетельствует их интереснейшая переписка.

Вот несколько выдержек из записанных мною воспоминаний Андрея Мелитоновича, относящихся к 20-м годам.

«Годы учебы в Тбилисской консерватории (1921—1926) были для меня очень насыщенными и плодотворными. Под руководством опытных педагогов, прекрасных музыкантов я окреп и возмужал профессионально и окончательно определил свое призвание и место в жизни.

Я начал интересоваться не только народными песнями, но и историей Грузии, ее многовековой культурой, литературой, познакомился и подружился со многими замечательными грузинскими музыкантами, артистами, художниками, поэтами.

Сближению с грузинскими писателями очень способствовало то обстоятельство, что по приезду в Тбилиси мы с отцом, за неимением собственной квартиры, поселились в доме № 13 на ул. Мачабели, там, где теперь помещается Союз писателей Грузии. Здесь же в то время проживали Галактион Табидзе, П. Яшвили, Н. Мицишвили, Г. Леонидзе и некоторые другие поэты. С Георгием Леонидзе я еще более сблизился спустя 15 лет, когда он работал над либретто моего балета «Сердце гор», что же касается Галактиона Табидзе, то он на долгие годы стал одним из самых близких моих «немузыкальных» друзей, чему не мешала значительная разница в возрасте. Наш замечательный поэт не раз привлекал меня в качестве участника — аккомпаниатора — своих вечеров поэзии. Особенно запомнился один из них, состоявшийся в

оперном театре в конце 1923 или начале 1924 года. Галактион в черной пелерине, выхваченной из мрака затемненной сцены лучом красного света, что придавало ему немного «демонический» облик, читал свои стихи. Я же аккомпанировал ему на фортепиано, подбирая разные классические произведения (например, «Элегию» Массне, которой поэт всегда просил сопровождать его знаменитую «Мэри»), а чаще всего импровизируя. Подобные вечера провели мы также в Кутаиси и Боржоми.

Подружился я и с поэтами — голубороговцами: обаятельным П. Яшвили, холеным Т. Табидзе, застенчивым, интеллигентнейшим В. Гаприндашвили. Никогда не забуду очень веселый и теплый вечер в доме писателей в связи с приездом в Тбилиси в 1922 году А. М. Горького.

Одним из очень памятных для меня событий была премьера в апреле 1926 года оперы моего отца «Тамара Коварная», в подготовке которой я принял деятельное участие.

Грузинский народ уже давно признал М. Баланчивадзе одним из своих любимых национальных художников, поэтому я не считаю для себя зазорным сказать, что очень высоко ставлю его как композитора. Он был наделен весьма оригинальным, самобытным дарованием. Его стиль, его творческий почерк не спутаешь ни с кем. Как мне кажется, индивидуальная особенность музыки М. Баланчивадзе кроется в органичности и, я бы сказал, непринужденности, безыскусственности синтеза национальных традиций с культурой итальянского бельканто. М. Баланчивадзе был великолепным знатоком грузинского крестьянского хорового эпоса, но в своем творчестве в основном опирался на городской пласт музыкального фольклора. Есть в его музыке какая-то первозданная свежесть и чистота, подкупающая слушателя. Вспомните колыбельную Циры, куплеты Шута, арию Гоча и другие.

Когда меня спрашивают об источниках, питавших и оплодотворявших мое собственное творчество, одним из них я всегда называю музыку Мелитона Антоновича Баланчивадзе.

Яркий след оставил в моей памяти короткий период сотрудничества с нашим замечательным певцом Ваном Сараджишвили, который взял меня к себе аккомпаниатором по рекомендации моего отца. Конечно, помимо рекомендации сыграло роль и то обстоятельство, что квалифицированных аккомпаниаторов в то время было очень мало.

Однажды к нам домой пришел Ван Сараджишвили. Было это примерно за год до его смерти, когда как бы в пред-

чувствии близкого конца великий певец в каком-то лихорадочном творческом возбуждении, не щадя себя, стремился как можно больше петь, даря незабываемые минуты наслаждения своим почитателям.

Вано предложил мне сесть за рояль, поставил передо мною сборник неаполитанских песен и попросил проаккомпанировать ему. Получилось неплохо. Когда же я с легкостью справился и с транспонировкой, Сараджишвили заявил, что лучшего помощника ему и не надо. Весной я несколько раз аккомпанировал ему во время его концертов в Тбилиси, а летом мы предприняли гастрольную поездку по Грузии. Особенно памятными были концерты в Кутаиси, где Вано устроили восторженную встречу, и на курортах в Боржомском ущелье. Основу репертуара В. Сараджишвили составляли тогда неаполитанские песни, которые он исполнял неподражаемо, арии Вертера, Надира, Ленского, Малхаза, несколько грузинских романсов, в основном Д. Аракишвили и М. Балачивадзе.

Открыли меня мои «авторские концерты». Первый из них состоялся еще в 1924 году. Я был совсем мальчиком и наверное поэтому почти не волновался. Лихо отыграл свои фортепианные пьесы и был удостоен такой чести, что сам маститый Иван Петрович Палиашвили продирижировал моими «Перхули» и «Лекури». В оркестре «Общества молодых грузинских музыкантов» сидели мои друзья, в будущем известные музыканты...

О Ленинградской консерватории я всегда думаю не только с огромным уважением и благодарностью, но и с настоящей сыновней нежностью.

Отправляясь в Ленинград, я заручился рекомендательным письмом к Александру Константиновичу Глазунову, однако к «протекции» не пришлось прибегнуть. Директор консерватории оказался человеком строгим, взыскательным, но вместе с тем чрезвычайно объективным и дружелюбно настроенным к молодежи. Он встретил меня тепло и со вниманием отнесся к моим сочинениям, показанным на приемных экзаменах.

Концертный марш, Адажио, «Грузинские танцы» я сыграл с незнакомым юношей в очках — это был Д. Шостакович — по партитуре на рояле в четыре руки. В дальнейшем судьба, вернее, общность стремлений и взглядов на жизнь и музыку, сделали нас близкими друзьями.

Окончив Ленинградскую консерваторию, я возвратился

в Грузию. В Тбилиси я получил очень лестное предложение от Котэ Марджанишвили сотрудничать в руководимом им театре в качестве штатного композитора. И хотя передо мной маячила вполне реальная перспектива продолжения учебы в аспирантуре Ленинградской консерватории, я не смог устоять. Лучистый взгляд Марджанишвили притягивал к нему людей, подобно магниту. Многим известно, какой это был удивительный человек. Я же должен добавить, что, помимо всего, он отличался редкой музыкальностью и великолепным знанием музыкальной литературы (сказывался опыт многолетней работы в музыкальных театрах России).

Во время подготовки спектакля он все время активно направлял работу композитора, советовал, называя примеры, и даже, представьте себе, подсказывал детали инструментовки.

Из оформленных мною спектаклей особенно запомнился «Сказ об Арсене». Марджанишвили замыслил спектакль как своего рода музыкальную драму. Все действие от начала и до конца протекало на фоне насыщенного музыкального сопровождения. Я написал весьма объемистую партитуру (оркестр театра состоял из 25 человек, а дополнительно были введены исполнители на грузинских народных инструментах).

Это был один из последних и подлинно новаторских спектаклей великого режиссера, через год его не стало. Оригинально было и декоративное решение, принадлежавшее Ладю Гудиашвили. Оно было основано на принципе движущихся декораций, что давало возможность «кинематографической» смены картин (а всего их было около 60!). Ярко запечатлелось в памяти воспоминание, как на репетициях Ладю Гудиашвили учил танцевать «квинтаури» совсем еще юного Георгия Шавгулидзе.

В сотрудничестве с К. Марджанишвили я еще успел музыкально оформить спектакль «Три толстяка», написал музыку к концертной инсценировке поэмы В. Каменского «Степан Разин», которую декламировала Ирина Донаури, и начал писать музыку к «Разбойникам» Шиллера. Увы, работа над спектаклем осталась незавершенной из-за смерти Котэ Марджанишвили.

Первым значительным произведением молодого композитора, привлечшим внимание музыкальной общественности, явился фортепианный концерт, созданный в 1936 году и неоднократно с успехом исполнявшийся известными пианистами Каменским и Обориным.

В конце тридцатых годов прозвучала известная оркест-

ровая картина «Озеро Рица», которая по сей день пользуется популярностью. Тридцатые годы (особенно вторая половина) были очень насыщенными для грузинского музыкального искусства. В частности, крупным событием музыкально-театральной жизни республики явилась постановка в декабре 1936 года балета А. Баланчивадзе «Мзечабуки», впоследствии переименованного в «Сердце гор». Ставил его и исполнял главную роль замечательнейший танцор XX века Вахтанг Чабукиани, декорации писал молодой Солико Вирсаладзе, дирижировал же талантливый грузинский дирижер Евгений Микеладзе.

А. Баланчивадзе вспоминает: «Это был музыкант редкого дарования, артист до мозга костей. Никогда не сотрется в моей памяти впечатление от исполнения под его управлением Седьмой симфонии Бетховена, Шестой Чайковского, «Фантастической» Берлиоза, «Дон Жуана» Штрауса.

Сколько энергии и горения души вложил Е. Микеладзе в подготовку моего балета! У него была тенденция трактовать балетную музыку как симфоническую. Пресловутой дилеммы — балетмейстер или дирижер — не могло существовать, когда за пультом стоял Евгений Микеладзе. Широко известны слова Д. Шостаковича, в которых он дает исключительно высокую оценку искусству грузинского дирижера. Я же в свою очередь могу добавить, что Лев Оборин, которому довелось однажды выступить в концерте совместно с Микеладзе (исполнялся фа-минорный концерт Шопена), говорил мне, что никогда ни до, ни после этого он не слышал такого совершенного по своему мастерству аккомпанемента...»

Имя Баланчивадзе приобретает всеююзную известность после постановки в 1938 году в Ленинграде его балета «Сердце гор», явившегося не только крупнейшим творческим достижением композитора, но и значительным вкладом в советское музыкальное и хореографическое искусство. В музыке балета проявились характерные для творчества Баланчивадзе мелодическая ясность и напевность, сочетание лирико-поэтических и мужественно-героических образов; яркостью и красочностью привлекают народно-жанровые сцены балета. Балет обошел сцены многих театров Советского Союза.

Один из первых отзывов на балет дал на страницах газеты «Советское искусство» в 1938 году Д. Шостакович: «Выдающиеся качества музыки ставят этот балет на первое



место среди советских балетов, появившихся за последние годы. Отдельные моменты партитуры производят потрясающее впечатление. Это особенно относится к финальному танцу 4-й картины и к финалу всего балета. Лирическая музыка, рисующая любовь Маниже и Джарджи, поражает своей строгостью и благородством.

Вообще в этой музыке нет ничего мелкого, все очень глубоко, и бы сказал, благородно-возвышенно, много серьезного пафоса, идущего от высокой поэзии».

Следующим этапом в творческом развитии композитора явилась Первая симфония, написанная в 1944 году и исполненная тогда же на Декаде музыкального искусства Закавказских республик в Тбилиси под управлением О. Димитриади. В этом произведении композитор откликнулся на грозные события военных лет, запечатлел мысли и чувства советских людей, воспел их героизм и решимость. Симфония выделяется богатством и разнообразием музыкального содержания, сочетающего героико-эпические, лирические и энергично устремленные музыкальные образы.

Симфония Баланчивадзе привлекает внимание новаторским, глубоко самостоятельным и интересным решением важных творческих проблем, связанных со становлением национального симфонического стиля, в частности, проблем музыкального языка, симфонической драматургии и так далее. На прочной основе национального музыкального стиля Баланчивадзе органически претворяет традиции классического и советского симфонизма. Содержание симфонии охватывает широкий круг образов: лирически опоэтизированных, остро-драматических, жанрово-бытовых и героико-эпических. Своеобразен жанровый облик симфонии, синтезирующий признаки различных типов симфонической драматургии.

Первая симфония, равно как и созданная в 1959 году Вторая, не раз исполнялась во многих городах Советского Союза и зарубежных стран.

Одним из высших художественных достижений композитора явился созданный в 1952 году Третий фортепианный концерт, посвященный советским детям и предназначенный для исполнения юными музыкантами. Музыка концерта отличается светлым лиризмом, жизнерадостностью, напевностью, ясностью мелодической линии и изяществом формы. Третий

фортепианный концерт прочно утвердился не только в педагогическом, но и в концертном репертуаре.

Значительным сочинением явился и Четвертый фортепианный концерт, написанный в 1967 году. 6-частный концерт построен в сюитном плане. Каждая из частей воспеваает или живописует различные уголки Грузии, ее природу, быт, историю.

В 60-е годы Баланчивадзе вновь обратился к балетному жанру, написав балет «Мцыри» по поэме Лермонтова. Рождению замысла «Мцыри» способствовал приезд в СССР Джорджа Баланчина и его балетной труппы. Партитура балета решена в жанре романтической поэмы.

Исключительной творческой активностью был отмечен конец 70-х годов, когда Баланчивадзе почти подряд создает ряд сочинений крупной формы. Среди них Третья симфония, уже не раз с успехом исполненная в Тбилиси и Москве, Пятый фортепианный концерт, фортепианное трио, квинтет и другие.

Помимо перечисленных сочинений, Баланчивадзе принадлежит целый ряд произведений и в других музыкальных жанрах, а совсем недавно, в канун своего 80-летия, маститый композитор написал Четвертую («Лесную») симфонию, успешно исполненную в Москве в апреле этого года на VII съезде композиторов СССР.

Уже больше полувека Баланчивадзе ведет плодотворную общественную и педагогическую деятельность. В течение многих лет он был заведующим кафедры композиции Тбилисской консерватории, первым секретарем Союза композиторов Грузии, ныне же является его почетным председателем. А. Баланчивадзе — один из крупнейших и авторитетнейших педагогов республики. Вот еще одна область, где вклад Андрея Мелитоновича поистине неогромен.

Работая в Тбилисской консерватории профессором по классу композиции, он воспитал большое количество талантливых композиторов. К числу его учеников относятся: Александр Шаверзашвили, Арчил Чимакадзе, Реваз Лагидзе, Мери Давиташвили, Шота Милорава, Бидзина Квернадзе, Отар Тевдорадзе, Нодар Мамисашвили и другие. Баланчивадзе систематически выступает в качестве дирижера и пианиста — исполнителя собственных сочинений. Он по-прежнему полон энергии и бодрости.



Диалог с композитором ведет кандидат искусствоведения, музыковед Елена СЕХНИАШВИЛИ.

Елена СЕХНИАШВИЛИ. Андрей Мелитонович, наша сегодняшняя беседа коснется Вашей биографии, особенностей работы над отдельными сочинениями, творческой манеры, процесса композиторского труда. Вы родились в семье известного музыканта, одного из основоположников грузинской профессиональной композиторской школы — Мелитона Антоновича Баланчивадзе, и нет ничего удивительного в том, что Вы выбрали путь композитора. В каком возрасте Вы начали сочинять, когда определили свое музыкальное призвание?

Андрей БАЛАНЧИВАДЗЕ. Видимо, желание сочинять было у меня уже в раннем детстве, поэтому я и любил импровизировать на рояле. С братом Георгием (впоследствии известный балетмейстер Джордж Баланчин. — Е. С.) мы часто играли в четыре руки популярные в то время произведения различных жанров, нередко сочиняли и сами.

Е. С. Расскажите, пожалуйста, о Ваших педагогах.

А. Б. В кутаисском училище по классу фортепиано я занимался у Ларисы Михайловны Кутателадзе, по теоретическим дисциплинам — у прекрасного знатока теории музыки органиста Иона Люциана Виховского. Он дал мне фундаментальные знания в этой области и начал приобщать к тайнам композиции. Именно он научил меня записывать сочиненное на нотный стан.

Е. С. А Ваши первые опусы?

А. Б. Главным образом это были фортепианные миниатюры — прелюдии, марши, хотя были и фортепианные трио, точнее, пьесы для фортепиано, скрипки и виолончели.

Е. С. Но ведь тогда Вы только начали специально заниматься музыкой, откуда же у Вас было знание специфики смычковых инструментов?

А. Б. Параллельно с фортепиано и теорией я учился игре на виолончели. Первым моим педагогом по этой специальности был Э. Трой. Затем я продолжил занятия у Лазыко. Поскольку в то время в Кутаиси виолончелистов было мало, я одновременно играл в струнном оркестре училища и в оркестре драматического театра.

Е. С. Кроме фортепиано и виолончели, какими инструментами Вы еще владеете?

А. Б. Органом. Окончив Ленинградскую консерваторию, я недолгое время занимался у известного органиста И. А. Браудо. Знание специфики этого инструмента сослужило мне в дальнейшем хорошую службу.

Е. С. Андрей Мелитонович, Вы великолепно владели фортепиано, пройдя курс обучения у таких известных педагогов, как И. А. Айсберг и М. В. Юдика, играли на виолончели, органе. Чем же был обусловлен выбор именно композиторской специальности, было ли это Вашим желанием или на этом настаивали Ваши близкие?

А. Б. Дело в том, что, будучи композитором, отец никогда даже не намекал мне на выбор этой профессии. Думаю, все началось именно во время домашних импровизаций. Надо сказать, что играли мы всегда по-разному, никогда не повторяясь. А когда впоследствии в училище пришлось писать диктанты, решать гармонические задачи и тому подобное, возникло желание сочинять самому. Таким образом, выбор профессии определился как бы сам собой.

Е. С. Вы сочиняете прямо в партитуре или предварительно пишете клавир?

А. Б. По-разному. Иногда в партитуре, иногда — в клавире.

Е. С. От чего это зависит и пользуетесь ли Вы роялем в процессе работы?

А. Б. В основном я сочиняю без инструмента. Рояль может понадобиться лишь для проверки найденной мысли.

Е. С. Насколько уточнение оркестровой интонации возможно на фортепиано?

А. Б. По-моему, писать за инструментом очень трудно, поскольку в дальнейшем часто приходится менять tessitura — сочиняешь в одном регистре, а потом выясняется, что в другом не слышно нужным образом. Помню такой случай. В одном из танцев балета «Страницы жизни» фактура разложена на два пласта. На фортепиано эта фактура звучала хорошо. В оркестре один из этих пластов замыслился в среднем регистре тромбонов. Начав оркестровать, я увидел, что произошла явная ошибка — у тромбонов эта фактура не звучала. Пришлось все переделывать — передать этот мотив трубам, то есть переносить его в верхний регистр, а другой пласт дать басам. Таким образом, фактура как бы «перевернулась».

Е. С. Даже в ранних оркестровых сочинениях Чайковского есть эпизоды, по которым становится ясно, что данный отрывок сочинялся за роялем. Правда, в зрелый период творчества этого не наблюдается.

А. Б. Потому что впоследствии он сочинял без инструмента.

Е. С. Андрей Мелитонович, Вы сразу же стали сочинять без инструмента или вначале все же пользовались им?

А. Б. Это во многом зависит и от конкретного жанра, в котором сочиняешь. Например, музыку к спектаклям или балеты часто приходится писать за роялем, поскольку сотрудничество с балетмейстером или режиссером начинается с самого начала работы. Произведения такого рода пишутся в основном в клавире и за инструментом.

Е. С. Как происходит у Вас процесс сочинения, отводит ли ему определенное время дня или это бывает спонтанно? Есть композиторы, работающие ежедневно в определенное время, вспомним хотя бы Чайковского, который сочинял в строго отведенные для этого утренние часы.

А. Б. Я разделяю тезис Чайковского — хоть два такта, но каждый день. Этого принципа я придерживаюсь неизменно, так как в противном случае композиторская техника, да и само мышление, начинают отставать.

Е. С. То есть Вы считаете, что композитор аналогично инструменталисту должен упражняться без перерывов?

А. Б. Пожалуй, композитору такая ежедневная тренировка требуется еще в большей степени.

Е. С. Но ведь эти «два такта» не могут существовать сами по себе. Они должны быть чем-то конкретным, должны быть связаны с другими музыкальными фрагментами, существовать в определенном образно-смысловом контексте?

А. Б. Безусловно. Ведь я всегда работаю над каким-либо определенным произведением. Правда, порой бывают неудачи, однако все же пишешь буквально несколько тактов, какой-то небольшой эскиз, заведомо зная, что в дальнейшем он вовсе не пригодится.

Е. С. Можете ли Вы одновременно работать над несколькими сочинениями параллельно, случалось ли это в Вашей творческой практике?

А. Б. Бывало, особенно когда сочинял прикладную музыку.

Е. С. Не считая прикладных жанров, можете ли Вы од-

новременно работать, скажем, над двумя инструментальными сочинениями?

А. Б. Бывало и такое. Например, одновременно с Третьей симфонией я начал писать Фортепианную сонату. Однако обычно в таких случаях уже в ходе работы останавливаешься на чем-то одном, откладывая другое, поскольку находишь продолжение какого-то одного замысла. И лишь закончив это сочинение, возвращаешься к отложенному.

Е. С. Не похожи ли друг на друга по концепции или особенностям формообразования начатые одновременно сочинения?

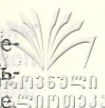
А. Б. Схожих по концепции сочинений у меня не бывает. А схожие произведения вполне возможны. Обычно это происходит по периодам — в определенный отрезок времени в творчестве рождаются какие-то интонационные, гармонические или ритмические «новшества». Благодаря этому, собственно, и можно разделить творческий путь художника на определенные этапы. Написанные в один период жизни произведения всегда бывают родственны по манере изложения.

Е. С. То есть по тому, что подразумевается под понятием композиторского стиля?

А. Б. Именно. Приведу такой пример. У меня есть балет «Мцыри». По средствам выражения это наиболее модернистическое сочинение в моем творчестве. Там я использовал и принципы додекафонии. Так вот, в этом балете есть нечто, что я и сейчас иногда использую, считая это неплохой находкой. Я имею в виду момент, когда тема как бы собирается в единый аккордовый комплекс, своего рода тематический кластер. Этот прием я использовал и в других своих сочинениях. Такие схожие моменты часто бывают в различных произведениях одного и того же композитора.

Е. С. Делаете ли Вы новые редакции ранее написанных сочинений?

А. Б. Честно говоря, возвращаться к уже написанному не люблю... Как-то я попросил у Шостаковича совета относительно II части Первой симфонии, которая казалась мне слишком длинной. Дмитрий Дмитриевич, ранее откликнувшись на это сочинение хорошей рецензией, сказал: «Эта часть мне очень нравится, хотя она и вправду длинная. Но раз так получилось, трогать ее нельзя». Сам я много думал над тем, как бы ее сжать, но так ничего и не придумал. Пусть остается такой, какая есть, ведь она уже тысячу раз играна и неоднократно издана.



Е. С. Имеете ли Вы в виду какой-нибудь сюжет, какое-либо содержание, фабулу, начиная работу над инструментальным сочинением? Или это содержание сугубо музыкальное. Как рождается у Вас музыкальный замысел?

А. Б. Замысел — это не сюжет, но обязательно содержание. О содержании произведения думаешь всегда. Почему-то считается, что раз есть содержание, то речь идет непременно о программной музыке. Это неверно. Цель сочинения — в его идее. Почему я пишу? Потому что любое произведение имеет свой смысл, потому что у меня возникает острое желание выразить то, что накопилось во мне к этому моменту. А уже потом начинаешь думать о тех средствах, которыми хочешь выразить ту или иную мысль. И редко бывает, чтобы литературная мысль здесь помогла бы. Скорее наоборот — она зачастую мешает. Музыкальное сочинение развивается само по себе, по исключительно музыкальным законам. Что же касается музыкального замысла, то в мелких сочинениях это вопрос настроения. Часто к этому побуждают хорошие исполнители — рождается желание написать для них. Относительно произведений крупной формы, например, симфонии, трудно сказать, почему рождается их замысел. Это собирательный процесс — что-то в тебе самом должно накопиться. Я считаю, что симфония — самое крупное музыкальное произведение, это кредо композитора, выражение и обобщение каких-то событий, мыслей, которые долгое время откладывались в сознании.

Е. С. А тематический материал, он рождается сам по себе, произвольно или ищется сознательно? Бывает же, что музыкальная тема возникает неожиданно; она, как говорят многие, была «услышана». Как это обычно происходит у Вас?

А. Б. Первоначально возникает образ. Сперва я должен уяснить себе его характер, поскольку образ — это выражение какого-то определенного события, какого-то настроения, а уже потом появляется адекватная музыкальная тема.

Е. С. А когда возникает представление о конструкции целого, в какой момент работы определяется, например, количество частей циклического произведения?

А. Б. Это последующий процесс. На начальном этапе работы количество частей обычно еще не бывает определено.

Е. С. Когда же становится известно, в какую часть войдет тот или иной музыкальный материал?

А. Б. Этот вопрос решается по-разному. К примеру, лишь когда целиком была написана III часть Второй симфонии и

мне стало ясно, что она должна кончиться светло, прозрачно, появился замысел IV части, возник ее интонационный материал.

Е. С. А чем бывает обусловлен выбор того или иного музыкального жанра?

А. Б. Уже с возникновением замысла я знаю, что это будет, скажем, хоровое или оркестровое сочинение, симфония или инструментальный концерт, поэтому с самого же начала работы всегда подразумеваю конкретную музыкальную фактуру.

Е. С. Стоит ли перед Вами задача обновления формы-конструкции, когда Вы приступаете к работе над новым сочинением? Ведь известно, что в последний период творчества Бетховен ставил перед собой именно такую художественную цель.

А. Б. Нет, такой цели я себе никогда не ставил, поскольку форма у меня приходит лишь в процессе работы. Само действие, точнее, драматургия действия, присутствует постоянно. Вначале она может быть несколько расплывчата, но в процессе работы дает толчок той или иной форме, определенному типу изложения.

Е. С. Как Вы постигали тайны драматургии, кто из композиторов явился для Вас эталоном в области развития музыкальной мысли?

А. Б. Конечно, классики, в особенности Бетховен. В нем меня всегда прельщало не столько умение развивать музыкальную мысль (поскольку это есть уже у Гайдна и Моцарта — именно с них начинается понимание идеального продолжения чисто музыкальной мысли), сколько противопоставления, контрасты, конфликты. Эта сторона, безусловно, наиболее ярко выражена у Бетховена.

Е. С. Есть ли у Вас какие-нибудь излюбленные инструментальные тембры?

А. Б. Орган. Еще в 1931 году я написал органную фугу. Орган использован мною в Первой и Третьей симфониях. Мне особенно нравится этот инструмент потому, что в нем есть тембры, которых нет даже в симфоническом оркестре.

Е. С. И еще, по-видимому, та объемность звучания, которой также нет в оркестре. Ведь звучание оркестра распространяется вширь, а звучание органа устремляется ввысь.

А. Б. Да, безусловно, и это.

Е. С. Сочиняя, скажем, сольную инструментальную



пьесу, подразумеваете ли Вы какого-нибудь конкретного исполнителя?

А. Б. В молодости я очень дружил с Львом Обориним раньше: в фортепианной музыке ориентировался исключительно на его манеру исполнения, которая мне очень нравилась. Оборин был исполнителем всех моих фортепианных концертов.

Е. С. Видимо, романтический стиль его исполнения совпал с Вашим внутренним «я».

А. Б. Да, меня прельщал его романтический порыв. Сейчас исполнителей такого типа, к сожалению, стало меньше.

Е. С. Бывали ли в Вашей творческой практике случаи совместной работы с исполнителем?

А. Б. Нет. Обычно я полностью заканчиваю сочинение и лишь потом начинаю работать с исполнителем над интерпретацией, и если в процессе этой работы возникает хорошая мысль, она непременно отразится в сочинении. Постороннее опытное ухо нередко может кое-что и подсказать. Такого рода содружество сложилось у меня с О. Димитриади, который дирижировал моими балетами, Первой, Третьей, Четвертой симфониями.

Е. С. Непременным условием содружества композитора и исполнителя является родство душ, полное взаимопонимание, иначе произведение не состоится. Многие говорят, что творческий процесс дается им мучительно. Насколько Вы, Андрей Мелитонович, разделяете это мнение, можете ли Вы вспомнить наиболее трудно «давшееся» Вам сочинение?

А. Б. Иногда сочинять бывает очень трудно, иногда наоборот — очень легко. Например, огромные по масштабу первые три части Первой симфонии я сочинил всего за три месяца, а один лишь финал писал почти полгода. Или другой пример — история создания Третьего фортепианного концерта, выдержавшего двенадцать изданий и часто исполняющегося по сей день. Дело было так. В 1950 году вместе с балетмейстером Л. Лавровским и дирижером С. Файером я готовил к постановке в Большом театре свой балет «Рубиновые звезды» (Первоначальное название балета — «Страницы жизни». — **Е. С.**) Однако по не зависящим от нас причинам в то время это сочинение так и не увидело света рамп. А ведь я уже ждал премьеры... По возвращении в Тбилиси мне предложили чисто техническую работу — оркестровать оперу одного композитора. Я взялся за нее и за полтора месяца оркестровал оперу и параллельно написал Третий концерт!

Е. С. Чем же объяснить, что при подавленном внутреннем состоянии Вы написали такое оптимистическое, полное света и юношеского задора сочинение? Ведь музыка этого концерта удивительно жизнелюбива, энергична и радостна!

А. Б. Желание писать было выше, нежели внутреннее состояние. В процессе творчества забывается все.

Е. С. По-видимому, этот момент проистекает из общего мировосприятия художника. Написав концерт, Вы были счастливы?

А. Б. Безусловно. Я ощутил это при первом же исполнении, которое состоялось в УМШ при Тбилисской консерватории. Каждую из частей концерта исполнял один ученик. Первую играл Г. Чарквиани, вторую — М. Киласонидзе, Третью — мой сын Джарджи. Аккомпанировал им ученический оркестр. Главным для меня была тогда реакция публики. Она убедила меня в том, что концерт удался. Приятно ощущать, что слушателю нравится твое творчество!

Е. С. То есть авторский замысел оказывается близким тем, для кого он предназначен. Андрей Мелитонович, всегда ли художественный замысел и его конкретная реализация на бумаге совпадают?

А. Б. Считаю, что замысел определяет фантазия. Фантазия — это нечто, существующее свыше и не имеющее четкого определения, поэтому полной ее реализации не бывает.

Е. С. Какие из Ваших сочинений Вы считаете полностью удавшимися?

А. Б. Трудно сказать, ведь я подхожу к своему творчеству более критически, нежели кто-либо; всегда вижу, где и что не совсем удалось. Я говорил уже об отзыве Д. Шостаковича относительно II части Первой симфонии, и все же я думаю, что она получилась такой, какой я ее задумал.

Е. С. Расскажите, пожалуйста, как возник у Вас замысел Первой симфонии.

А. Б. Был конкретный толчок — война.

Е. С. А как реализовывался этот замысел?

А. Б. Как я уже говорил, работая над этой симфонией, я за три месяца написал три первые части, а над финалом работал почти полгода. У меня было восемь его вариантов!.. Финал как бы делится пополам. Первая половина — скорбная, вторая — торжественная. Делят эту часть трубные фанфары. Вот их-то я никак и не мог найти. Перепробовал массу вариантов, написал множество эскизов, советовался с друзьями-музыкантами. Бывало, они одобряют, а я, придя домой,

рву все в ключья — чувствую, что и этот вариант не годится. А как-то раз, будто на меня снизошло озарение, и я нашел решение. В начале эта тема напоминает духовные песнопения — все тона рядом, близко друг к другу. И все мне показалось, что этот мотив надо как резину растянуть, расширить. Так появились те самые трубные фанфары... Если бы я тогда оставил любой из предыдущих вариантов, финал, да и вся симфония значительно проиграла бы.

Е. С. А как возник замысел Третьей симфонии, что послужило толчком для ее создания?

А. Б. Накопился материал. Кстати, импульсом к созданию произведения явился финал.

Е. С. А недавно написанная Фортепианная соната?

А. Б. Нередко то, что было задумано раньше, остается нерешенным, поскольку возникают иные замыслы. Но постепенно, исподволь давнее желание формируется и наконец «всплывает наружу». Яркий пример тому — Девятая симфония Бетховена. То же самое было и с моей Фортепианной сонатой. Я сам некогда был пианистом и очень люблю этот инструмент. Сегодня мало кто пишет сонаты — постепенно этот жанр стал отживать. Все это вместе взятое и натолкнуло меня на ее создание.

Е. С. Какие тенденции музыки XX века оказали на Вас влияние?

А. Б. Если говорить о западной музыкальной культуре, то это вагнеровское наследие, затем Г. Малер и Р. Штраус. Из более поздних мне ближе всего О. Мессиан. В его творчестве слышится влияние Дебюсси и Равеля, он не теряет связующей нити с искусством импрессионизма, тем самым продолжая традиции французской музыки. У Мессиана прекрасная манера изложения, хорошие мысли.

Е. С. Хотя прогнозы относительно эволюции искусства, и в частности музыки, приблизительны и, быть может, даже утопичны, какой, на Ваш взгляд, будет музыка будущего?

А. Б. Мне кажется, что поворот к мелодизму неминуем.

Е. С. Этот поворот уже наметился, за последнее десятилетие он делается все более ощутимым.

А. Б. Да, но радикальные перемены не так-то легко осуществить, так как те, кто не пишет такой музыки, нелегко сдадут свои позиции. Это касается не только молодых, но и многих композиторов моего поколения. Сейчас даже для них возврат к мелодизму труден, поскольку они забыли то, с чего начинали, — истинную технику композиции.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

В Тбилиси состоялся пленум правления Союза писателей Грузии.

Пленум вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили.

С докладом выступил секретарь правления СП республики Дж. Чарквиани.

Об основных направлениях и тенденциях развития грузинской литературы, ее проблемах говорили в своих выступлениях поэты и прозаики, критики и работники издательства республики.

За последнее время в грузинской литературе создан ряд произведений, получивших широкое признание читателей. Основной чертой современного литературного процесса в республике стало многоплановое и углубленное отражение проблем современности, сочетающееся с активным художественным исследованием истории народа. Однако партия, время ставят перед мастерами художественного слова более серьезные и масштабные проблемы

В стране идет перестройка. Она набирает темпы не только во всех звеньях промышленности и сельского хозяйства, не только углубляется и расширяется ее экономическое и философское содержание. Шаг за шагом она овладевает сознанием народа, меняет психологию и мышление людей. И здесь важную роль призвана сыграть литература. Она не может быть глуха к сюжетам, отражающим насущные проблемы нашей действительности. Честно и откровенно говорит партия с народом об острых проблемах, не сглаживая неблагоприятные тенденции и трудности, существующие в реальной жизни. Такую же цель поставила она и перед советскими литераторами, призывая их ярко раскрывать все новое, передовое, страстно обличать то, что мешает движению общества вперед.

Большое внимание на пленуме было уделено проблемам литературной критики, материально - технической базы издательства, содружества национальных литератур.



Сдано в набор 31.07.86 г. Подписано к печати 7.10.86 г. Формат 84×108₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14, УЭ 06919. Тираж 6 000 экз. Заказ 1823. Адрес редакции 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

КОНТРОЛЬНЫЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, М. Ю. ЛОХВИЦКИЙ, Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, Л. Ш. СТУРА, Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Группу» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

26-86

86-659

ИНДЕКС 76117

802-0101033

